

О.Д. Постовалова
ЛИТЕРАТУРА УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ
Хрестоматия

ISBN 978-5-4217-0094-4



9 785421 700944

Курганский
государственный
университет



редакционно-издательский
центр

43-38-36

**Министерство образования и науки
Российской Федерации**

Курганский государственный университет

О.Д. Постовалова

ЛИТЕРАТУРА УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ

Хрестоматия

Курган 2011

УДК 82 (470.5)(075.8)
ББК 84 (235.55) Я 73-3
П 63

Рецензенты

канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и культуры речи
КГСХА им.Т.С. Мальцева **Н.Е. Украинцева**;
учитель русского языка и литературы 1 категории, завуч по учебно-
воспитательной работе МОУ «СОШ №18» **С.И. Букина**.

Печатается по решению методического совета Курганского государственного университета

П 63 **Постовалова О.Д.** Литература Урала и Зауралья: Хрестоматия. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2011. – 126с.

В хрестоматии рассматривается творчество писателей Урала и Зауралья XIX – XX вв. Приводятся тексты художественных произведений, предложены планы практических занятий и задания для самостоятельной работы студентов по изучению творчества местных авторов и рассмотрению развития литературного процесса в регионе.

Предназначено для студентов Курганского государственного университета, обучающихся по направлениям и специальностям в области филологии.

Библиограф. – 177 назв.

УДК 82 (470.5)(075.8)
ББК 84 (235.55) Я 73-3

ISBN 978-5-4217-0094-4

©Курганский государственный университет, 2011
©Постовалова О.Д., 2011

Содержание

Введение.....	4
Предания Южного Зауралья	6
Д.Н. Мамин – Сибиряк	10
К.Д. Носилов.....	30
П.П. Бажов	39
Е.А. Федоров	45
Я.Т. Вохменцев.....	50
С.А. Васильев	54
А.М. Пляхин	57
А.Н. Еранцев.....	61
В.И. Еловских	65
В.И. Юровских	75
Л.А. Туманова.....	81
А.Д. Львов	85
В.Ф. Потанин	88
И.П. Яган	98
В.П. Федорова.....	101
А.А. Захаров.....	105
Список литературы	119

ВВЕДЕНИЕ

История Зауралья – это прежде всего история освоения русскими переселенцами новых земель, история их взаимоотношений с местными народами. Заселение Зауралья русскими поселенцами проходило поэтапно. С 40-х гг. XVII века началось освоение северной части Зауралья. В это время основной колонизационный поток русских шел из восточного Поморья, Поволжья, Предуралья, Урала и таежного Зауралья. Интересное топонимическое и антропонимическое исследование в 20-х гг. XX в. провел известный зауральский краевед В. П. Бирюков, он отмечает: «О заселении из района Северо-Европейской части России говорят географические названия – д. Кокшарова (старое название Котельнича), Колмогорцево (Холмогоры), Мезенка (Мезень), Печеркина (р. Печера), д. Пиньжакова (р. Пинега), д. Кайгородова (г. Кайгород), Каргаполье (Каргополь)». И далее: «Наиболее часто встречающиеся фамилии – Вагин, Ваганин, Ваганов, Важенин, Воженин – от реки Вага. Воложенин, Воложанин – от Вологды. Устюгов, Устюжанин – от Устюга. Кевролетин – от с. Кевроль Архангельской обл., Пошехоновы – от г. Пошехонье и др.» [103, с.114]. В.П. Бирюков отмечал также почитание среди первых русских переселенцев северо-русских святых – Дмитрия Угличского, Артемия Веркольского, Прокопия Устюжского, Зосимы и Савватия Соловецких. Не случайно в фольклоре Зауралья сильны северо-русские черты, основной из которых является высокая степень архаики. Особенно черты архаики сильны в среде старообрядцев.

Во второй половине XVIII в. начинается освоение земель в южном направлении. Столь позднее освоение южных территорий по сравнению с северными историки объясняют высокой степенью конфликтности русских пришельцев с коренными народами, к которым относятся татары, пришедшие в эти края в XVI веке после присоединения Казанского ханства к России, башкиры, калмыки-торгоуты, киргиз-кайсаки. На первом этапе заселения особенно острыми были отношения русских с сыновьями изгнанного Кучума. Но во второй половине XVII века (с 60-х годов) «военно-политическая ситуация в южном Зауралье определялась в первую очередь взаимоотношением русских и башкир» [103, с.105]. Это время характеризуется многочисленными башкирскими восстаниями. Последующий XVIII век также отмечен беспокойной военно-политической ситуацией – это время ожесточенных столкновений русских с башкирами и киргиз-кайсаками. Большое значение в освоении южных территорий, как указывает А.А. Кондрашенков, имело строительство Ново-Ишимской или Пресногорьковской пограничной линии в 1752-1755 гг. «Это строительство окончательно закрепило за русскими бассейн среднего течения реки Тобол и обеспечило в этом районе необходимые условия для экономического развития края» [109, с.140]. С этого момента начинается мирный период освоения зауральских земель.

Южное Зауралье – край неоднородный не только в этническом отношении, но и в национальном и конфессиональном. По своим географическим и климатическим характеристикам исследуемый регион был оптимальным районом для развития земледелия и скотоводства. Поэтому крестьянство являлось одной из

основных категорий населения. Такое положение сложилось уже к началу XVIII века. «Вместе с бобылями они (крестьяне. – О.П.) составляли 68,4% всего населения, а по количеству дворов – 80%...». Крестьянство в Зауралье в XVIII в. было по преимуществу государственным. «По данным переписи 1762 г., в Исетской провинции было 889 душ крепостных крестьян, а в 1774 г. в Шадринском уезде крепостных насчитывалось 141 д. м. п., что составляло всего 1,6 % всего крестьянского населения» [103, с.164]. Крепостные крестьяне относились к южным районам Зауралья, которые входили в состав уездов европейских губерний, – Пермской и Оренбургской. В 50 - 60-е гг. XVIII в. появляется еще одна категория крестьянства – приписные крестьяне. Эта группа населения, проживавшая в Приисетье, тесно связана с развитием горнозаводского Урала. В Притоболье таковые отсутствовали.

Второй по численности была группа служилого населения. К началу XVIII века она составила 14,2%. «Их присутствие объяснялось необходимостью военного противостояния с кочевниками» [103, с.160]. Среди них выделяется еще одна категория населения – казаки, проживавшие на юго-западе региона по течению реки Уй. Казачьи поселения входили в состав Челябинского уезда Оренбургской губернии. Казаки появились здесь с 40-х гг. XVIII века и составляли 17% от всего населения Челябинского уезда. К 80-м годам XVIII века в связи с уменьшением военной опасности сокращается доля военных.

Одновременно с началом заселения Зауралья появляются и ссыльные. Ссылка принимает массовые масштабы во второй половине XVIII века. «Построение новой линии оборонительных укреплений потребовало организации путей сообщения. Строительство притрактовых деревень для обеспечения ямской гоньбы, сохранение и ремонт трактов были организованы правительством в принудительном порядке» [103, с.232]. Ссылали крепостных и государственных крестьян, солдат и офицеров, дворян и мещан. По мнению большинства исследователей, ссыльные были важным элементом формирующегося населения Сибири. Так, благодаря сосланным сюда в 50-60-х годах XVII века протопопу Аввакуму, попу Лазарю и другим противникам вводимых обрядов и исправленных книг в Южном Зауралье как части Сибири формируется наиболее радикальное течение, не приемлющее поповства. В этой среде распространились такие формы протеста, как самосожжения или гари. По численности раскольников территория Курганской области к 1840-м годам являлась второй по России. Только в современном Шатровском районе к концу XVIII в. образовался достаточно большой круг сел, связанных со старообрядчеством: Бархатово, Ирюмская, Яутла, Помалово, Самохвалово, Ильино, Дружинино, Саламатово, Широково, Мостовка, Ключи и др. Наиболее значительный из них – Ирюмский старообрядческий центр, выступавший в роли хранителя и распространителя старообрядческой культуры.

Таким образом, социальный и конфессиональный состав мигрирующего населения был далеко неоднородным: крестьяне, казаки, старообрядцы. Каждая из этих групп населения несла свой фольклор, который со временем стал составной частью местной фольклорной традиции. В Зауралье одним из востребованных фольклорных жанров являются предания: исторические, топонимические.

Предания Южного Зауралья

ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ

Давным-давно, когда наш край заселяли полудикие племена, жил на месте нынешнего Кургана некий татарский хан Кадыр, потомок знаменитого мурзы Золотой орды. Его юрт стоял на крутом берегу Тобола, у живописного Алгинского яра. («Алгин» в переводе с татарского языка означает «знаменитый»). У хана была дочь неопикуемой красоты. Он очень любил ее. Но судьбе было угодно оборвать жизнь юной красавицы. Она умерла. Убитый горем отец решил похоронить ее на самом красивом месте – в Алгинском урочище. Он согнал сюда своих слуг и приказал им горстями насыпать землю на могилу дочери. Вырос высокий холм. Вместе с покойницей в нем было зарыто большое количество золота, серебра и разного добра, которыми владела при жизни дочь хана.

Так возник Царев курган. Он считается священным местом у кочевников. В течение многих веков они обходили его стороной, стараясь не нарушить сон «спящей красавицы». Вскоре о Царевом Кургане прослышали русские землепроходцы, так как стали ходить слухи, что в нем зарыт клад. На поиски этого клада отправилась ватага смельчаков. Им на каждом шагу грозила опасность от кочевых народов. Но они, рискуя жизнью и свободой, пробирались все дальше в степь, пока не достигли знаменитого кургана. И когда они уже были у цели, начали разрывать курган, на них неожиданно напали киргизские наездники – одних убили, других увели в плен.

Через некоторое время образовалась новая артель кладоискателей. Их постигла та же участь. И третью, и четвертую уничтожили кочевники. Многие русские удалцы погибали на полдороге, не добравшись до священного места.

... Была летняя чудная ночь, когда очередная партия кладоискателей подкралась к священному кургану. Кругом стояла такая тишина, что слышно, как комар, пролетая, хлопает крыльями, ни одна травинка не шелохнется.

Кетмень врезался в твердую землю. Раздались глухие удары. Они нарушали тишину, потревожив сон степной красавицы. Ханская дочь, погребенная под Царевым Курганом, не смогла вынести нарушения своего покоя и, оскорбленная разорителями могилы, была вынуждена оставить ее. Загремел гром. Яркий свет озарил грабителей. Вокруг них разлетелись огненные стрелы, и из глубины кургана выехала золотая колесница, запряженная двумя белыми лошадьми. В колеснице сидела ханская дочь в богатом татарском наряде. Волосы ее были распущены. Головной убор украшали драгоценные камни. На руках светились бриллианты.

Рассыпая изумрудные искры, колесница быстро унеслась на запад и вместе с девицей-красавицей утонула в водах Чухломского озера. «Чухломак» – татарское слово, означающее «утонуть». От этого слова будто и получило название озеро.

Кладоискатели продолжали поиски. Но золота в Царевом Кургане так и не нашли – оно исчезло вместе с ханской дочерью.

ОХОНИНЫ БРОВИ

В Булыгину ехать есть местечко – Охонины брови. Там такая гора очень высокая, посмотришь, очень высокая. И вот ей дали название старинны люди Охонины брови. Нос – камень, а лес – брови, точно у человека. Почему Охонины? Видать Охоней человека звали, коль Охонины брови. А сейчас гора еще больше. Я раньше часто там ездила к зятю в гости в Булыгину. Теперь Булыгиной-то нет, и Медведевой нету. А Охонины брови стоят и будут стоять.

СЕЛО УСТЬ-УЙСКОЕ

Село называется Усть-Уйское, потому что в устье Уя расположено. Через Уй – степь. Где брод, где мост – граница. Основатели – переселенцы из Оренбурга, вернее из Безлука, а еще вернее, из Елшанки. У нас, в нашем краю большинство Елшанских, так и зовут часть Усть-Уйки «Елшанка». Вот она за Бараньим Логом. Привезли сюда еще моего деда, слышал от стариков. А ему было года 1,5-2. Раздолье здесь, ой какое! Службу казаки несли пограничную, остались три кургана. На них были посты день и ночь. Было 40 солдат с допотопными ружьями. Киргизы так и называли станицу «Крык-Пойдак», что значит «40 солдат». И сейчас, когда старые казахи спрашивают дорогу:

- Как Крык-Пойдак дорога?
- Иди на Усть-Уйку.
- А-а.

О дороге на Усть-Уйку слышали, а помнят, что еще была прямая дорога на Кырк-Пойдак. По ней бы проехать. И смех, и грех.

Слышал от стариков, что Усть-Уйка называется потому, что Кыргызы, когда перегоняли сюда стада, обрадовались и закричали: «Уй, Уй!», дескать «Хорошо». Места, видишь, какие красивые, все в траве, в ягодах.

МАЛАШКИНО ОЗЕРО

Давным-давно наше село было крепостью. Кругом его стояли нетронутые бора, но не о них разговор будет. Про озеро я вспомнил да про девчонку годов двенадцати. Как выйдешь за наше село по дороге в Пески, тут тебе озеро это и покажется. Малашкиным оно называется, а почему, слушайте дальше.

Время тогда было лихое, беспокойное. Нет-нет да появлялись в наших местах кочевники. Кто зазевается – схватят и увезут в плен. Девушкам и женщинам опасно было ходить за грибами да за ягодами. Часть их потерялась совсем. Такая же беда случилась и с босоногой Малашкой. Белокурой, синеглазой она была. Родителей у нее не было. Жила у родственников. Гусей пасла, за водой в колодец бегала да белье на озеро стирать да полоскать ходила: вода в нем мягкая, без мыла хорошо отстирывает. Стирает, а сама все песни поет. От кого научилась – никто не знал. Душа у нее, как птица, все куда-то улететь хотела. От сиротства это было. Если нет работы, то так на озеро прибегала. Сядет

на плот, опустит ноги в воду, а сама на облака смотрит да слушает, как над головой сосны шумят. Подкрались к ней враги, схватили да увезли. Что с ней дальше случилось неизвестно. Только имя она здесь свое оставила: народ с тех пор озеро стал называть Малашкиным.

ПРЕДАНИЕ О ПУГАЧЕВЕ

Когда Пугач-от ходил, в нашу деревню тоже заходил. Тогда деревни-то жгли, народ хватали. Говорили, что стариков не трогали, хватали только молодых.

Я слышала от своей баушки, а она опять от своей баушки слышала. В нашей деревне одна старуха насобираала ребятишек, насадила их в короб, закрыла пологом и повезла из деревни в лес. Тогда народ, кто в лес, кто просто в поле спасался. Повезла, значит, только выехала за деревню-то, навстречу ей едут верховые, а тогда пики были, – пики-то белыхаются. Съехались с ней и спрашивают:

– Кому, бабушка, верушь, Катюхе али Петрухе?

Старуха не знат, что говорить-то, забормотала:

– Катюхе, Петрухе, Катюхе, Петрухе..., – сама понужат лошадь-то. Те слушали, слушали, да и говорят:

– Видно, с ума сошла! Чо с нее возьмешь.

И отпустили, не пошевелили. Так она уехала и спаслась. А вот в Ячменной один старик был. Как эти, кои с Пугачевым-то поехали по деревням, он говорит:

– Молодых только хватают, а меня старика не пошевелият, – и из деревни-то никуда не поехал.

Увидал, что пики забелыхались, едут, стало быть, – старик-от никуда не стал прятаться. А они его схватили, в сноп аржаной соломы завертели, куда-то подвесили и зажгли. Так и сгорел старик-от.

ПРЕДАНИЕ О КУПЦЕ КРАСНОПЕЕВЕ

Достопримечательностью станицы был купец Краснопеев Мартын Кузьмич – из разночинцев, т.е. мужиков. Разбогател, женившись на дочери состоятельного человека Сысоева. У него была единственная дочь – некрасивая. Сидела в девках. Сысоев пригляделся к Краснопееву, которого позвал к себе на работу. Вначале так кем-то, а потом приказчиком. Видит Сысоев – парень дельный. Да и сговорил его жениться. Хоть и некрасивая, но умная, дельная. Выделил Сысоев скота, товару, денег, и пошло дело. Человек Краснопеев был хороший, с пониманием, хваткий. Держал мельницу, лавки торговые, крупорушки. За мелочью не стоял. Хлеба много засевали, убирать рабочих рук не хватало. А Краснопеева крепко выручали киргизы. Вот накупит он красных платков с рисунком – простых, ситцевых, чаю, сахару. Это уже всегда в запасе. Начинается уборка. Киргизы выстроятся на своих двуколках за Тоболом. Мар-

тын Кузьмич к ним. Женщинам сам повяжет платки по ихней моде, дает чаю, сахару. А киргизы на своих двуколках потянутся на его поля. К другим не идут, а все к Краснопееву: уважение чувствовали.

В деньгах людям не отказывал: потом отработают или хлебом отдадут – по 8 копеек пуд. Будет новина, он скупал и торговал потом этим хлебом.

Жертвовал деньги на школу, больницу. В школьной библиотеке есть несколько книг с дарственной надписью – пожертвования Краснопеева.

Практическое занятие

Несказочная проза Урала и Зауралья

План

1. Жанрообразующие черты несказочной прозы. Отличие сказки от несказочной прозы.
 2. Жанровый состав несказочной прозы:
 - былички
 - предания
 - легенды.
 3. Особенности бытования несказочной прозы на территории Урала и Зауралья (темы, образы, герои).
 4. Семейные предания в системе несказочной прозы.
- Задание:** записать историю своей семьи (семейное предание).

Список литературы

1. Лазарев А.И. Предания рабочих Урала как художественное явление. Челябинск, 1970.
2. Криничная Н.А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987.
3. Ахметшин Б.Г. Несказочная проза Горнозаводского Башкортостана и Южного Урала. Уфа, 1996.
4. Ахметшин Б.Г. Горнозаводской фольклор Башкортостана и Урала. Уфа, 2001.
5. Аникин В.П. Русское народное творчество М., 2001.
6. Фольклор и литература Зауралья: Из истории русской фольклористики: хрестоматия. Курган, 2005.
7. Фольклор на родине Д.Н. Мамина-Сибиряка. Свердловск, 1967.

Практическое занятие

Декабристы и Зауралье

На занятии заслушиваются доклады и презентации студентов о декабристах, отбывавших ссылку в Зауралье (В.К. Кюхельбекер, Н.И. Лорер, А.И. Розен, М.М. Нарышкин, И.Ф. Фохт, Н.В. Басаргин, Ф.М. Башмаков, А.Ф. Бригген, В.Н. Лихарев, М.А. Назимов, П.Н. Свистунов и др.). Сообщение строится по следующему плану:

1. Биография декабриста.
2. Годы, проведенные в Зауралье.
3. Вклад декабристов в развитие зауральской культуры.

Список литературы

- 1 Гессен А. Во глубине сибирских руд. М, 1969.
- 2 Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988.
- 3 Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1977.
- 4 Декабристы. Антология в 2-х томах. Л., 1975.
- 5 Литературное наследие декабристов. Л, 1975.
- 6 Мемуары декабристов. М., 1988.



Дмитрий Наркисович Мамин – Сибиряк (1852-1912)

Настоящая фамилия писателя – Мамин. Родился 25 октября (6 ноября) 1852 года в Висимо-Шайтанском заводе Пермской губернии в семье заводского священника.

В творческой биографии Мамина-Сибиряка отчетливо выделяются два петербургских периода: первый – юношеский, студенческий, в контексте литературного творчества Мамина получивший название «периода первого вхождения в литературу» (1872-1877 гг.), и период зрелого писательства (с 1891 г. и до конца жизни). Между этими датами – 1877 и 1891 гг. – располагается уральский период жизни и творчества Мамина-Сибиряка, длившийся чуть меньше полутора десятилетий. Но именно эти годы принесли Мамину литературную известность – в отечественную литературу и культуру писатель вошел прежде всего как «певец Урала», потому, что в первую очередь он был страстным патриотом и исследователем родного края – фольклористом, этнографом и археологом.

Первым крупным произведением писателя был роман «Приваловские миллионы» (1883), который достоверно воспроизводил различные стороны уральского быта. Это произведение, наряду с другими «уральскими» романами Мамина-Сибиряка, стало масштабной реалистической эпопеей, впечатляющим образцом отечественной социально-аналитической прозы.

В 1884 году в журнале «Отечественные записки» появился следующий роман «уральского» цикла – «Горное гнездо», закрепивший за Маминым-Сибиряком репутацию выдающегося писателя-реалиста.

С годами Мамина все больше занимают процессы народной жизни, он тяготеет к романам, в которых главным действующим лицом оказывается не исключительный человек, а целая трудовая среда. Большую известность приобрели романы Д.Н. Мамина-Сибиряка «Три конца» (1890), посвященный сложным процессам на Урале после Крестьянской реформы 1861 года, «Золото» (1892), в жестких натуралистических подробностях описывающий сезон золотодобычи и «Хлеб» (1895) о голоде в уральской деревне в 1891-1892 годах.

В художественном наследии Мамина-Сибиряка есть единственное действительно историческое произведение – оно по «преданьям старины глубокой». Это повесть «Охонины брови». Созданию повести предшествовала большая подготовительная работа, совпавшая с периодом активной литературной и собирательской деятельности Мамина на Урале в 1880-е гг. Подобно А.С. Пушкину, посетившему Южный Урал в процессе создания «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева», Д.Н. Мамин-Сибиряк не ограничивается изучением архивных источников и исторических книг. Он несколько раз выезжал в район Далматовского монастыря.

Д.Н. Мамин-Сибиряк известен и как детский писатель. Детские произведения его очень разнообразны и предназначены для детей разного возраста. «Аленушкины сказки». «Зимовье на Студеной», «Серая шейка», «Зарницы», «По Уралу» и другие произведения приобрели широкую известность и стали классикой детского чтения.

ОХОНИНЫ БРОВИ

Повесть

Часть первая

1

В нижней клетки усторожской судной избы сидели вместе башкир-переметчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дьячок из Служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуектом Степанычем Чушкиным. А дело было не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их и водили на допрос к воеводе.

— Имею большую причину от игумена Моисея, — жаловался дьячок Аре-

фа товарищам по несчастью.— Нещадно он бил меня шелепами.¹ А еще измором морил на всякой своей монастырской работе. Яко лев рыкающий, забрался в нашу святую обитель... Новшества везде завел, с огнепальною яростию работы египетские вменил... Лютует над своею монастырскою братией и над крестьянами.

— И долютовал,— отвечал слепец Брехун.— Как крестьяне подступили к монастырю, игумен спрятался у себя в келье... Не поглянулось, как с вилами да с дрекольем наступали, а быть бы бычку на веревочке.

— Жив смерти боится,— угнетенно соглашался Арефа и тяжело вздыхал.

— А тебя-то он за што изживал?

— Немощи у меня, Брехун.

— Насчет Дивьей обители, што ли?—ядовито спрашивал Брехун.— Может, дьячиха нажалилась отцу игумену...

— Тоже и сказал человек! Статочное ли это дело про Дивью обитель такие словеса изрыгать?

Слепец Брехун любил подтрунивать над дьячком: надо же было как-нибудь коротать долгое тюремное время.

— Немошь у меня к зеленому вину,— объяснил дьячок,— а соблазн везде... Своя монастырская братия стомаха ради и частых недуг вкушает, а потом поп Мирон в Служней слободе, казаки из слобод, воинские люди... Ох, великое искушение, ежели человек ослабеет!.. Ну, игумен Моисей и истерзал меня многажды...

— И шелепами, и плетями, и батошьем?

— Всячески... Он и на попов не очень-то глядит, чуть што, сейчас отправит на конюшенный двор, а там разговоры короткие. Раньше игумен Моисей в Гобольске происходил служение, белым попом был. Ну, а разъярится, так необыкновенную скорость на руку оказывал... Так и попадью свою уходил: за обедом костью говяжьей ее зашиб, как сказывают. Вот после этого он и принял на себя иноческий чин... На великой реке Оби остояков крестил, монастырь поставил, а потом к нам попал, да под духовные штаты и угодил. Вотчина монастырская огромная: близко ста тыщ десятин земли, на них девять деревень, да четыре поселка, да шесть заимок, а еще лесу не считано, да хмелевые угодыя, да три рыбных озера, да двой рыбные пески в низовье Яровой... Свои четыре мельницы было, кожевня, свешная, а в городах везде подворья. Одного сена ставили больше двенадцать тыщ копен. Монастырских крестьян близко трех тыщ податных душ состояло и одного оброка тыщу рублей ежегодно приносили. Процветал наш Прокопьевский монастырь, кабы не новые духовные штаты: все ограничили сразу — и землю, и крестьян, и всякое прочее угодые. Вот игумен-то Моисей и лютует... Приехал он на большое, а вышло маленькое. А монастырь ограничили, чети² не оставили, а тут еще перед самыми штатами дубинщина ваша. Меня же прицепили к ней неповинно.

— Сказывай!—недоверчиво ворчал Брехун.— Вы больно умны с игуме-

¹ Шелепы – мешки с песком (Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)

² Четь – четверть. (Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)

ном-то, а другие одурели для вас. Какой крестьянин без земли, а земля божья... Государский указ монахи скрыли. Кабы не воевода Полуехт Степаныч, так тряхнули бы вашим монастырем. Погоди, еще тряхнут.

— Нечем трясти-то, коли все отняли.

— Щука умерла, а зубы остались.

Худенькое и сморщенное лицо Арефы с козлиной бородкой во время разговора все подергивалось, точно сейчас под кожей у него были натянуты нитки. Сгорбленный и худой, он казался старше своих лет, но это только казалось, а в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одной рукой семь пудов. Синий подрясник из домашней крашенины придавал ему вид отшельника. Желтые волосы были заплетены в две жиденьких косички, постоянно вылезавших из-под высокого стоячего воротника подрясника. Слепец Брехун, потерявший глаза еще во время второго башкирского бунта, когда по Зауралью проходили воровские шайки под предводительством Пепени, Майдары и Тулкучуры, являлся полною противоположностью «мухортного» дьячка. Это был плотный, совсем лысый старик с неподвижным лицом, как у всех слепцов. Он был в одной холщовой рубахе и таких же портах. Слепец Брехун и дьячок Арефа вели между собой долгие разговоры, причем первый рассказывал больше про свой монастырь, а Брехун вспоминал свои скитанья по Зауралью и Оренбургской степи.

— Бывал и я в степе,— задумчиво говорил дьячок.— С благословения прежнего игумена Поликарпа ездил на рыбные ловли и по степную соль на озеро Ургач. А все домой тянет: не могу без Служней слободы жить.

— Как цепная собака без своей конуры?

— Тянет меня и сейчас: хоть бы одним глазком поглядел, што делается там... Одной-то дьячихе моей трудненько управляться. Тоже и пашенка есть, и скотинка, и огород,— по женскому делу весьма трудно за всем углядеть. Одна надежда на нашего заступника Прокопия, иже о Христе юродивого: все за ним сидим, как тараканы за печью. Орда-то прежде частенько-таки набегала на монастырскую вотчину,— домишки сожгут, а людей поколют или в полон возьмут. Не можно было ущититься, а спасал все он же, преподобный Прокопий. Великая сила ему дана на всю сибирскую сторону. Восьмого иулия монастырь празднует, и Торжок бывает в нашей слободе, так и называется — прокопьевский торжок.

— Прокопьев-то день по всей Сибири прошел,— объяснял Брехун,— крестьяны по всем местам его весьма уважают.

В этих беседах не принимали участия только башкир Аблай и казак Белолус. Первый, правда, по вечерам затягивал свои унылые башкирские песни про старшину Сеита или Алдарбая. Это пение походило на протяжный волчий вой и нагоняло на всех страшную тоску. Подземелье, где сидели узники, выходило на божий свет всего одним оконцем, обрешеченным железом. Слабая полоса света не освещала и четвертой части подземелья. Особенно трудно было ночью,

когда узники укладывались вповалку на земляной пол и каждое движение во сне сопровождалось лязгом железа. Другим неудобством было то,

что рядом с этим подземельем находилась воеводская «заплетная», где снимали показания с провинившихся. Работа начиналась с раннего утра, и слышно было, как хрустели кости на дыбе, а палачиный кнут резал живое человеческое тело. Мертвая тишина оглашалась отчаянными воплями, хрипением и визгами, как визжит железо под пилой.

— Ох, горе душам нашим!— вздыхал Арефа, съеживался и шептал молитву.

— Што, не глянется?— смеялся Брехун.— Это, видно, получше будет ваших монастырских шелепов... Воевода Полуехт Степаныч тешит свою душеньку, а катом¹ у него башкир Кильмяк — такая собака, что не приведи бог во сне увидеть... С одного раза может убить человека, когда расстервенится. Кнутом наказали душ пятнадцать, за дубинщину, а другим ноздри повырывали... И игумен вместе с ним: все, слышь, прибавки просит. Тоже с Баламутских заводов сам Гарусов наезжал: у него с Полуэхтом-то Степанычем рука руку моет.

— Слышь, как резанул опять Кильмяк?.. Батюшки-светы, преподобный Прокопий! — молился вслух Арефа, прислушиваясь к заплетной работе.— Што же это будет такое? Душеньку вынули...

Молчал один Белоус, хотя ему приходилось больше всех бояться кровавой работы Кильмяка. Это был важный преступник, попавшийся с поличным, и разлакомившийся кровавою расправою воевода приберегал его на закуску. Все остальные содержались по оговору или по подозрению, а дьячок Арефа представлен был самым грозным игуменом Моисеем, как зачинщик и подстрекатель крестьянского бунта. Белоуса уже два раза выводили на допрос, и два раза его приносили с допроса замертво и в таком виде приковывали к пруту. Он дней по пяти не мог подняться на ноги, и Арефа залечивал раны на спине его хлебным мякишем. Искусный был дьячок и слыл за колдуна.

Узники содержались давно, а Белоус не сказал и десяти слов. Его молчание было нарушено только раз, именно утром, когда в оконце узникам подавали еду, то есть несколько ломтей ржаного хлеба с луком. В это утро, вместо усатой солдатской рожи, в оконце показалось румяное девичье лицо.

— Здесь батя? — спрашивал девичий голос, перехваченный слезами.

— Охонюшка, милая... да тебя ли я вижу, свет мой ясный! —откликнулся Арефа, подходя к оконцу.— Да как в город-то попала, родная?

— Матушка прислала, батя... Горюет она по тебе, а тут поп Мирон наклался в город ехать, вот матушка и прислала меня проведать тебя. Слезьми вся изошла матушка-то...

— Да как же ты, Охонюшка, в чужом-то месте не боишься?

— А мы на монастырском подворье встали, батя... Ловко там. Монашек Гермоген там же... Он еще не монашек, а на послушанье.

— Какой Гермоген, Охонюшка? Чего-то такого не упомяну в Прокопьевском... Разве пришлый какой?

¹ Кат – палач. (Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)

Пономарь-то наш Герасим — помнишь?— он самый и будет. Сейчас после святой пошел в монастырь и теперь в служках, а потом постригется.

— Ах, какой грех... то есть оно, конечно, божье дело, а жаль парня, ему и ближе знать. А поп Мирон што?

— Ничего, батя... Пытал он Герасима-то уговаривать, тот не послушался. Надоело, говорит, в миру жить... А я к тебе, батя, каждое утро буду приходить. Мамушка гостинцев прислала. «Отдай, говорит, бате», а сама без утыху плачет.

Охоня присела к окошечку на корточки и тоже всплакнула, когда увидела исхудалое и пожелтевшее лицо старика отца. Это была среднего роста девушка с загорелым и румяным лицом. Туго заплетенная черная коса ползла по спине змеей. На скуластом лице Охони с приплюснутым носом и узкими темными глазами всего замечательнее были густые, черные, сросшиеся брови — союзные, как говорили в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых людей. Одета она была во все домашнее, как простая деревенская девка.

— Это чья такая будет? — спрашивал Белоус, когда Охоню от оконца оттащила дюжая солдатская рука: шел на допрос сам воевода.

— Моя, видно,— ответил Арефа не без гордости.— Дочерью прежде звали...

— Что-то не похожа на тебя,— усомнился Белоус.

Говорят тебе, что моя! — сказал Арефа.— Не лошадь, тавра не положено.

— То-то вот есть, что дочь твоя, а тавро-то чужое...

— Молчи, пес! Может, она поближе, чем своя, а как уж она мне приходится, и сам не разберу... Эх, вышло тут одно неудобь-сказуемое дельце. Еще при игумене Поликарпе вышло-то, когда он меня на неводьбу в орду посылал, на степные озера. Съездил я до трех раз, и все благополучно: преподобный Прокопий проносил, а тут моя-то дьячиха и увяжись за мною. «Скушно мне без тебя, Арефа, поеду с тобой». — «Куда ты, глупая? В степе-то наедут кыргызы и заколют обоих». — «Ничего, говорит, когда, говорит, я у батюшки в Черном Яру в девках еще жила, так они, собаки, два раза наезжали, а я из ружья в них палила, в собак...» Дьячиха-то у меня орел-баба. Ну, собрались мы со своею худобой и поехали в степь. На озера приехали благополучно и целую неделю так-то и прожили, а тут ночью, под Ильин день, собаки-кыргызы и наехали... Мы вместе с дьячихой-то спали,— ну, один кыргыз меня копьём к земле приколол, а другой ухватил дьячиху и уволок. Не далась бы она живою, кабы не сонная,— мертвый у ней сон. Так ее, сердешную, в степь и увезли, а меня в монастырь предоставили колотого. Полгода я лежал так-то,— нога у меня наскрозь копьём пройдена. Пришел после в свою избенку на Служней слободе и горько всплакал: не стало моей дьячихи. Однако помолился я преподобному Прокопию, а он и ущитил мою дьячиху от орды: через полгода выворотилась дьячиха-то из степи... Ушла одвуконь ночным делом, когда орда спала. Ну, а только выворотилась она такая...

— Какая?

— Да уж такая... Отяжелела в орде моя дьячиха, вот такая... Ну, а потом разродилась вот этою самою Охоней. Других детей у нас нет, вот нам и вышла радость на старости лет. За свою растим... Бог дал Охоню.

Белоус ничего не сказал, а только съезжил богатырские плечи. Красивый был казак, кудрявый, глаза серые, бойкие, а руки железные. День и ночь он думал об одном, а Охоня нарушила его вольные казацкие мысли.

2

Охоня стала ходить к судной избе каждое утро, чем доставляла немало хлопот караульным солдатам. Придет, подсядет к окошечку, да так и замрет на целый час, пока солдаты не прогонят. Очень уж жалела отца Охоня и горько плакала над ним, как причитают по покойникам,— где только она набрала таких жалких бабьих слов!

—Родимый ты мой батюшка, застава наша богатырская! — голосила Охоня, припадая своей непокрытой девичьей головой к железной оконной решетке.— Жили мы с матушкой за тобой, как за горою белокаменной, зла-горяне ведали...

Эти причеты и плачи наводили тоску даже на солдат,— очень уж ревет девка, пожалуй, еще воевода Полуект Степаныч услышит, тогда всем достанется. Охоня успела разглядеть всех узников и узнавала каждого по голосу. Всех ей было жаль, а особенно сжималось ее девичье сердце, когда из темноты глядели на нее два серых соколиных глаза. Белоус только встряхивал кудрями, когда Охоня приваливалась к их окну.

—Не застуй¹, девка...— заметил он ей всего один раз.— Без тебя тошно.

Ходила, ходила Охоня, надоело попу Мирону ее ждать, и уехал он домой вместе со служкой Гермогеном, а Охоня дошла-таки до своего. Пришла она раз своим обычаем к оконцу, а солдаты накинулись отгонять ее.

—Убирайся, девка, откуда пришла! — кричал на нее сердитый капрал.

—Я не девка, а отецкая дочь,— бойко отвечала Охоня.

—Сказывай, а все-таки убирайся подобру-поздорову...Воевода придет, так наотвечаешься за тебя, а вся-то твоя девичья цена: наплевать. Проваливай, говорят...

— Не пойду!.. Не трожь, говорят!

Сначала солдаты старались оттолкнуть Охоню вежливенько, кто плечом, кто кулаком, но она остервенилась и накинулась на солдат, как волчица.

— Креста на вас нет, скобленные рыла!..— кричала Охоня, цепляясь за солдатскую амуницию.— Девка им помешала... Стыда у вас в глазах нет!..

Слово за слово, и кончилось дело рукопашной. Проворная и могучая была дьяковская дочь и надавала команде таких затрешин, что на нее бросился сам капрал. Что тут произошло, трудно сказать, но у Охони в руках очутилась какая-то палка, и, прислонившись к стене, девушка очень ловко защищалась ею от наступавшего врага. Во время свалки у Охони свалился платок с головы, и темные волосы лезли на глаза.

— Не давайся, Охоня, вшивой команде! — послышался из подземелья знакомый молодой голос.— Катай их по бритым-то рылам!

¹ Не застуй – не заслоняй света. (Примеч. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

В самый критический момент, когда Охоня уже ослабевала, к судной избе подъехал верхом на гнедом иноходце сам воевода Полуект Степаныч.

— Стой, команда! — зычно крикнул он на солдат. — Что за драка?

— Вот девка увязалась, — жаловался капрал. — Никак не могли ее отогнать от избы.

— Не девка, а отецкая дочь! — с гордостью ответила Охоня.

Воевода Чушкин, старик с седою коренною бородкой, длинным носом и изрытым оспой «шадривым» лицом, держался в седле еще молодцом. Он оглядел Охоню с ног до головы и только покачал головой. Смущенная стража сбилась в одну кучу, как покрытые решетом молодые петухи. Воспользовавшись воеводским раздумьем, Охоня кубарем бросилась начальству в ноги, так что шарахнулся в сторону иноходец, а затем уцепилась за воеводское стремя.

— Ущити, воевода, честную отецкую дочь! — кричала Охоня. — Твои солдаты безвинно опростоволосили и надругались над моею дивьей красотой... Смертным боем хотели убить.

— Постой, дура! — крикнул воевода, сдерживая шарашившуюся лошадь. — Откедова ты взялась-то, жар-птица?.. Чего тебе надобно?

— Батю отдай, воевода... моего батю... Безвинно он нацепь посажен. Мамушка слезами изошла... Дьячил батя в Служней слободе, а игумен Моисей по злобе его заковал.

Воевода грозно нахмурился, стараясь припомнить дьячка из Служней слободы. Мало ли у него народа по затворам сидит. Но какая-то неожиданная мысль осенила воеводское чело, и старик подозвал капрала.

— Выпустить колодников! — приказал он. — А ты, отецкая дочь, лошадь-то не пугай у меня! Дуры эти бабы, прямо сказать. Ну, чего голосишь-то? Надень платок, глупая...

Загремел тяжелый замок у судной тюрьмы, и узников вывели на свет божий. Они едва держались на ногах от истомы и долгого сиденья. Белоус и Аблай были прикованы к середине железного прута, Брехун и Арефа по концам. Воевода посмотрел на колодников и покачал головой — дескать, хороши голуби.

— Ну, отецкая дочь, выбирай любого, — сказал воевода. — Ни которого не жаль.

Конечно, Охоня бросилась к отцу и повисла на его шее со своими бабьими причитаньями, так что воевода опять нахмурился.

— Будет, не люблю, — сказал он и прибавил, обращаясь к капралу:

— Раскуйте этого дурачка-дьячка, а с игуменом я свой разговор буду иметь.

Арефа стоял и не мог произнести ни одного слова, точно все происходило во сне. Сначала его отковали от железного прута, а потом сняли наручни. Охоня догадалась и толкнула отца, чтобы падал воеводе в ноги. Арефа рухнул всем телом и припал головой к земле, так что его дьячковские косички поднялись хвостиками вверх, что вызвало смех выскочивших на крыльцо судейских писчиков.

— Кормилец, Полуехт Степаныч, безвинно от игумна претерпел,— заговорил Арефа, стучаясь лбом в землю.

— Ну, ладно, потом разберем,— ответил воевода.— Кабы не вырастил такую вострую дочь, так отведать бы тебе у Кильмяка лапши... А ты, отецкая дочь, уводи отца, пока игумен не нагнал, в город.

Охоня, как птица, подлетела к воеводе и со слезами целовала его волосатую руку. Она отскочила, когда позади грянула цепь,— это Белоус схватил железный прут и хотел броситься с ним на воеводу или Охоню,— трудно было разобрать. Солдаты вовремя схватили его и удержали.

— Гей, приковать его за шею отдельно от других! —скомандовал воевода.

— Спасибо на добром слове,— поблагодарил Белоус, делая отчаянную попытку вырваться из вцепившихся в него дюжих рук.— А ты, отецкая дочь, помни Белоуса.

Эти слова заставили Охоню задрожать — не боялась она ни солдат, ни воеводы, а тут испугалась. Белоус так страшно посмотрел на нее, а сам смеется. Его сейчас же увели куда-то в другое подземелье, где приковал его к стене сам Кильмяк, пользовавшийся у воеводы безграничным доверием. На железном пруте остались башкир Аблай да слепец Брехун, которых и увели на старое место. Когда их подводили к двери, Брехун повернул свое неподвижное лицо и сказал воеводе:

— Не в пору ты разлакомился, Полуехт Степаныч... Дерево не по себе выбираешь, а большая кость у волка поперек горла встает.

Арефе сделалось даже совестно, когда низенькая деревянная дверь, обитая толстыми железными полосами, точно проглотила его недавних товарищей по сиденью в «узилище». Сам он через девку вышел на волю и читал немой укор своей мужской гордости на окружающих лицах.

Воевода подождал, пока расковали Арефу, а потом отправился в судную избу. Охоня повела отца на монастырское подворье, благо там игумена не было, хотя его и ждали с часу на час. За ними шла толпа народу, точно за невиданными зверями: все бежали посмотреть на девку, которая отца из тюрьмы выкупила. Поравнявшись с соборною церковью, стоявшей на базаре, Арефа в первый раз вздохнул свободнее и начал усердно молиться за счастливое избавление от смертной напасти.

— Охонюшка, милая, не ты меня выкупила своими слезами,— сказал он дочери,— а бысть мне в нощи прещение...Видел я преподобного Прокопия и слезно плакался: его молитвами умягчилось воеводное сердце.

— Скорее бы только из городу выбраться, батя,— говорила Охоня,— а там уж все вместе помолитвуем преподобному.

— Ох, и то бы скорее!..

Арефа шел с трудом: и ноги, избитые кандалами, болели, да и сам он шатался от слабости. Когда купцы увидели выпущенного на волю колодника, то надавали ему медных денег. Арефа даже прослезился от сыпавшейся на него благодати.

Город Усторожье был не велик: дворов на шестьсот. Постройки все деревянные, как воеводский двор и старая церковь. Каменное здание было одно — новый собор, выстроенный тщанием, а отчасти иждивением воеводы Чушкина. Все это деревянное строение было обнесено земляным валом, а на валу шел тын из бревен, деревянные рогатки и «надолбы». По углам, где сходились выси, поднимались срубленные в паз деревянные башни-бойницы. Трое ворот вели из города: одни — на полдень, другие — на север, а третьи — прямо в орду, то есть в сторону степи. Усторожье вырос из небольшого пограничного острожка, в котором казаки отсиживались и от башкир, и от киргизов, и от калмыков. Боевое местечко выдалось, и в случае «заворохи» сюда сбегались поселщики из всех окрестных деревень, поселков и займищ, пока не улеглась гроза.

Монастырское подворье было сейчас за собором, где шла узкая Набережная улица. Одноэтажное деревянное здание со всякими хозяйственными пристройками и большими хлебными амбарами было выстроено еще игуменом Поликарпом. Монастырь бойко торговал здесь своим хлебом, овсом, сеном и разными припасами. С введением духовных штатов подворье точно замерло, и громадные амбары стояли пустыми.

— Жаль, што поп-то Мирон уехал,— жалел Арефа, присаживаясь на скамеечку у ворот подворья перевести дух.— Довез бы он нас по пути.

— И пешком дойдем, батя, только бы из города поскорее вырваться,— говорила Охоня, занятая одною мыслью.— То-то мамушка обрадуется...

В подворье сейчас никого не было, кроме старца Спиридона, проживавшего здесь на покое, да нескольких амбарных мужиков из своей монастырской вотчины. Арефу встретили, как выходца с того света, а дряхлый Спиридон даже прослезился.

— Мертв был, а теперь ожил,— шептал старик и качал своею седою головой, когда Охоня рассказывала ему, как все случилось.— На счастливого все, Охоня. Вот поп-то Мирон обрадуется, когда увидит Арефу... Малое дело не дождался он: повременить бы всего два дни. Ну, да тридцать верст¹ до монастыря — не дальняя дорога. В двой сутки обернетесь домой.

Первым делом, конечно, была истоплена монастырская баня,— Арефа едва дождался этого счастья. Узникам всего тяжелее доставалось именно это лишение. Изъеденные кандалами ноги ему перевязала Охоня,— она умела ходить за больными, чему научилась у матери. В пограничных деревнях, на которые делались постоянные нападения со стороны степи, женщины умели унимать кровь, делать перевязки и вообще «отхаживать сколотых».

— Зело оскорбел во узилище, доченька,— жаловался Арефа.— Сидел на гноище, как Иов многострадальный...

Забравшись в бане на полоч, Арефа блаженствовал часа два, пока монастырские мужики нещадно парили его свежими вениками. Несколько раз он выскакивал на двор, обливался студеною колодезною водой и опять лез в баню, пока не ослабел до того, что его принесли в жилую избу на подрыснике. Арефа

¹ В старину версты считались в тысячу сажен. (Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)

несколько времени ничего не понимал и даже не сознавал, где он и что с ним делается, только тяжело дышал, как загнанная лошадь. Охоня опять растирала ему руки и ноги каким-то составом и несколько раз принималась плакать.

— Перестань, дура, — проговорил очнувшийся Арефа. — Исхитрил преподобный Прокопий из львиных челюстей невредима, а впереди — бог. Сподобился и в бане попариться.

После бани старец Спиридон преподнес Арефе монастырского травника, который на подворье не переводился, и недавний узник даже крякнул от удовольствия. Но не успел он поднести чарку ко рту, как в дверях появились два солдата с воеводского двора.

— Где здесь дьячок Арефа? — спрашивал старший.

— Нету его, — уехал домой! — ответила за отца Охоня.

— А нас прислал воевода за ним: надобен на воеводский двор немедля. Строгий наказ от самого воеводы. Погоню пошлет, ежели уехал.

Арефа перекрестился, выпил чару и отвечал:

— Здесь! Девка по глупости сболтнула, што уехал. Во ужо оболокусь и предстану воеводе.

— Ты поскорее, дьячок: воевода не любит ждать.

У Охони даже сердце упало, когда она увидела воеводских «приставов»: надо было сейчас же бежать из города, а теперь воевода опомнился и опять посадит батю в темницу. Она помогла отцу одеваться, а сама была ни жива ни мертва, даже зубы чокали, точно в трясовице.

— Батя, не ходи: расскажит тебя воевода, — шепнула она отцу. — А то лучше я с тобой сама пойду.

Освеженный баней, Арефа совсем расхрабрился и даже цыкнул на дочь, зачем суется не в свое дело. Главное, не было в городе игумена Моисея, а Полуект Степаныч помилует, ежели подвернуться в добрый час.

Бедная Охоня опять горько плакала, когда пристава повели отца на воеводский двор.

3

Воевода Полуект Степаныч, проводив дьячка Арефу, отправился в судную избу производить суд и расправу, но сегодня дело у него совсем не клеилось. И жарко было в избе, и дух тяжелый. Старик обругал ни за что любимого писчика Терешку и вообще был не в духе. Зачем он в самом-то деле выпустил Арефу? Нагонит игумен Моисей и поднимет свару, да еще пожалуется в Тобольск, — от него все станет.

— А девка — мак! — вслух проговорил воевода, когда Терешка подсунул ему какую-то бумагу.

— Мак-то мак, да не совсем, — ответил Терешка, один из всей приказной челяди осмеливавшийся разговаривать с воеводой.

— А што?

— Да так... Неспроста это дело вышло, Полуехт Степаныч: дьячок-то Арефа зазнамый волхит¹.

¹ Волхит — волшебник. (Примеч. Д.Н. Мамина-Сибиряка.)

— Н-но-о?

— Да уж верно: и кровь умеет заговаривать, и траву всякую знает. Кого змея укусит, лошадь разнеможется, глазу кому попритчится,— все к Арефе идут. Не прост человек, одним словом...

Это известие заставило воеводу задуматься. Дал он маху — девка обошла, а теперь Арефа будет ходить по городу да бахвалиться. Нет, нехорошо. Когда пришло время спуститься вниз, для допроса с пристрастием, воевода только махнул рукой и уехал домой. Он вспомнил нехороший сон, который видел ночью. Будто сидит он на берегу, а вода так и подступает; он бежать, а вода за ним. Вышибло из памяти этот сон, а то не видать бы Арефе свободы, как своих ушей.

Воеводский двор стоял тоже у базарной площади, как и монастырское подворье, только по другую сторону, где шли мелкие лавчонки с разным товаром. Одноэтажный деревянный дом со слюдяными оконцами и железною крышей тянулся сажен на десять и на улицу выходил пузатым раскрашенным крылечком. Внутренние покои были низки, но уютны. В одной половине воевода проживал сам, а в другой помещалась его воеводская канцелярия. Места в доме хватило бы еще на две семьи, благо Полуект Степаныч жил с женой Дарьей Никитишной сам-друг,— детей у них не было. Покои внутри были расписаны, а на полу везде лежали бухарские ковры, которые воевода получал в благодарность с менового двора и торговых застав. Всякого добра было достаточно у воеводы, кроме того, что детками господь не благословил. Это всего больше сокрушало воеводу, ездившую много раз в Прокопьевский монастырь, советовавшуюся со знахарями и бабами-ведуньями, а толку никакого. Брюзгая и толстая Дарья Никитишна горько плакалась на свою судьбу, а бабьи годы все уходили да уходили.

— Што воротился-то спозаранку?— встретила она мужа.

— Так,— коротко ответил воевода.— Не твоего бабьего ума дело.

Воевода выпил чарку любимого травника от сорока немощей, который ему присылали из монастыря, потом спросил домашнего меду,— ничто не помогало. Проклятый дьячок не выходил из головы, хоть ты что делай. Уж не напустил ли он на него какой-нибудь порчи, а то и прямо сглазил?.. Долго ли до греха? Вечером воеводе совсем стало невтерпеж, и он отправил за дьячком своих приставов.

«А девка гладкая,— думал воевода и отплевывался от нечестивой мысли, заползавшей в старую голову.— Как ее звать-то? А ловко она солдат орясиной шарашила... Одним словом, удалая девка».

В ожидании дьячка воевода сильно волновался и несколько раз подходил к слюдяному окну, чтобы посмотреть на площадь, не ведут ли пристава волхита. Когда он увидел приближающуюся процессию, то волнение достигло высшей степени. Арефа, войдя в воеводские покои, повалился воеводе прямо в ноги.

— Ну, вот што, несообразный человек,— заговорил воевода,— выпустить я тебя выпустил, а отвечать-то игумену кто будет?

— Безвинно я томился в узилище, Полуехт Степаныч,— взмолился Арефа,

стоя на коленях.— Крестьяне бунтовали и хотели игумна убить, а я не причинен... Служил я в своей слободе у попа Мирона и больше ничего не знаю. Весь тут, Полуехт Степаныч, дома нисколько не осталось.

— Хорошо, хорошо... Там после увидим, а что ты теперь-то думаешь делать?

— А в Служную слободу домой проберусь. Моя дьячиха, слышь, без утыху ревет.

— Ах, глупая голова!.. Ну, придешь ты к себе в слободу, а игумен опять тебя закует в железо и привезет ко мне... Это как?.. Тогда уже пеняй на себя, а во второй раз я не буду тебя выпускать... Дьячиха-то твоя тогда не так заревет.

— Смилуйся, Полуехт Степаныч, житья мне не стало от игумна... Безвинно он лютует.

— Ну, это ваше дело, а я не судья монастырские дела разбирать. Без того мне хлопот с вашим монастырем повыше усов... А я тебе вот что скажу, Арефа: отдохнешь денек-другой на подворье, да подобру-поздорову и отправляйся на Баламутские заводы... Прямо к Гарусову приедешь и скажешь, што я тебя прислал, а я с ним сошлюсь при случае...

— А как же дьячиха-то, Полуехт Степаныч?

— Увидишь и дьячиху по пути, когда поедешь мимо монастыря. Только проезжай ночью, штобы на глаза игумену не попасть. Тебе же добра желаю, дураку...

Это предложение совсем обескуражило Арефу, и он никак не мог взять в толк, что он будет делать на заводах у Гарусова. Совсем не по его духовной части, да и расстатся с Служнею слободой тяжко. Ох, как тяжко, до смертыньки!

— Ну, один разговор кончили, а теперь заведем другую речь,— заговорил воевода ласково и даже потрепал Арефу по плечу.— Вот што, милый друг, сказывал мне один человек, што ты зазнамный волхит: и кровь заговариваешь, и с порченными людьми отваживаешься.

— Поклепали напрасно, Полуехт Степаныч. Куда мне при моей худости этакими неподобными делами заниматься?

— На виноватого с клепом?—засмеялся воевода.—Не бойся, не выдам никому, а дельце есть у меня к тебе, и не маленькое...

Старик огляделся, припер дверь на всякий случай и, усадив дьячка на скамью, проговорил тихим голосом:

— Два у меня дела к тебе, Арефа... Озолочу, коли потрафишь, а не потрафишь — не взыщи. Первое дело, не наградил меня господь детками, а моя воеводица уж в годках и совсем жиром заплыла.

— Слыхивал, Полуехт Степаныч, только мудренное дело... У меня так же с дьячихой было, пока ее в полон не угнали.

— Дурак... Што же мне свою жену, по-твоему, в полон тоже отдать? Прямой ты дурак, дьячок.

— Обмолвился, Полуехт Степаныч... Есть хорошее средство от неплодия: изловить живого воробья, вынуть из него сердце, сжечь и пеплом поить воеводу по три утренних зари, а самому медвежью желчью намазаться. Помогает, особливо ежели с молитвой... На всякое любовное дело способствует и от неплодия разрешает,

— Чего-нибудь врешь, поди?

— Сейчас провалиться, не вру... А другое средство, Полуехт Степаныч, совсем уже секретное и даже неудобь сказуемое.

— Говори.

— Да ведь грешно и говорить-то!..

— Говори.

— Видишь ли какое дело, Полуехт Степаныч. В степи я слышал от одного кыргыза: у них ханы завсегда так-то делают. Ты уж не сердитуй на меня за глупое слово. Ежели, напримерно, у хана нет детей, а главная ханша старая, так ему привозят молоденькую полоняночку, штоб он размолодился с ней. Разгорится у него сердце с молоденькой, и от старой жены плод будет.

— Послушай, Арефа, за такие слова тебя надо к Кильмяку отдать,— пошутил воевода и ухмыльнулся.— Ах ты, оборотень, што придумал!.. Только мне это средство не по моему чину и не по закону христианскому, да и свою Дарью Никитишну не желаю обижать на старости лет. Ах, какое ты мне слово завернул, Арефа. Да ведь надо, штобы молодая-то полюбила старика!

— Ну, это не больно кручиновато дело, Полуехт Степаныч. Самому можно помолодеть, коли понадобится. И нет того прощсе... Закажи белый плат, чтобы его выткала безвинная девица, да тем платом по семь зорь снимай с пшеничного колоса росу и мажь ей лицо, а то и обвяжи этим платом. Которое лицо рябое или угриновато, все сгонит росой-то...

— Верно говоришь?

— Уж так верно, што вернее не бывает.

Воевода совсем развеселился и даже подал дьячку из собственных рук чарку заветного монастырского травника.

— Из нашей обители травничок,— заметил Арефа, пропустив чарку.— Лучше его нигде не сыщешь.

За хороший совет воевода наградил дьячка еще деньгами и отпустил домой, повторив свой наказ поскорей убираться из города. В последнем случае хитрый старик хлопотал не столько о дьячке, сколько о самом себе: выпустил он дьячка, а того гляди, игумен нагонит.

Воеводе Полуекту Степанычу уже надоело возиться с разборкой монастырской «дубинщины», тем более что бунтовавшие крестьяне уже отписаны были от монастыря по новым духовным штатам. Из разборки ясно выступало одно, что кругом был виноват перестроживший игумен Моисей, утеснявший своих монастырских крестьян непосильными работами и наказывавший их нещадно за малейшую провинность. Целых два года тянулась разборка, и Полуект Степаныч наконец устал. Конечно тоже виноваты, зачем поднялись «с уязвительным оружием» на игумена и чуть не порушили самый монастырь. И как ведь поднялись: тысячи три народу сбилось. Озверели вконец, полезли к монастырским стенам, а игумен их кипятком со стен варил, горячею смолою обливал, из пищалей палил и смертным боем бил. Хорошо, что вовремя дошла весть о монастырской «заворухе» в Усторожье, и монастырь выручили рейтары, проживавшие на винтер-квартирах, да драгунский полк, подоспевший из Тоболь-

ска. Как ударила эта воинская сила, так дубинщики и разбежались по своим углам.

— Суди бог игумена,— часто повторял Полуект Степаныч, производя расправу над крестьянами.— Не нам, грешным, судить его высокий сан.

Целыми толпами приводили в Усторожье замешанных в дубинщине крестьян, и воевода творил нещадный суд. А игумен разгорелся яростью и присылал все новых виновников, которых разыскивал по бывшим монастырским деревням. Опалился на них игумен больше всего за то, что вскоре за дубинщиной введены были духовные штаты, и крестьяне объясняли, что это они своей дубинщиной доняли монастырь. Игумен хватал без разбору каждого, на кого только доносили. К таким случайным бунтарям принадлежал и дьячок Арефа, вины которого воеводский сыск не мог найти, несмотря ни на какое пристрастие. И слепец Брехун тоже,— он попал за какие-то «поносные речи» на игумена. Вот беломестный казак Белоус — другое дело: этот кругом виноват... Он подводил толпы дубинщиков к монастырским воротам и похвалялся разнести весь монастырь по кирпичику. Попался Белоус в руки воеводы одним из последних, потому что после дубинщины больше года скрывался где-то на Яике, по казачьим уметам.

—Арефу выпустил, а с Белоусом разделаюсь,— утешал себя воевода <....>.

Вторая часть

5

<....> Осада монастыря затянулась. Белоус, по-видимому, рассчитывал на переметчиков, которые отворят мятежникам монастырские ворота. Но из этого ничего не вышло, потому что Гермоген ни днем ни ночью не знал отдыха и везде следил сам. Переметчики были переловлены и посажены в тюрьму. Монашеская братия заразилась энергией Гермогена и мужественно вела оборону. Приводил всех в отчаяние один келарь Пафнутий, который сидел на запоре у себя в келье и не внимал никаким увещаниям. Когда начиналась пушечная пальба, он закрывал голову шубой и так лежал по нескольку часов. Это был какой-то панический страх.

— Ох, смертынька моя пришла! — бормотал старик, когда кто-нибудь из иноков старался его ободрить.— Конец мой... тошнехонько...

Даже Гермоген ничего не мог поделать.

Когда наступила очередная служба в соборе, Пафнутий долго не решался перебежать из своей кельи до церкви. Выходило даже смешно, когда этот тучный старик, подобрав полы монашеской рясы, мелкою трусцой семенил через двор. Он вздыхал свободнее, только добравшись до церкви. Инок Гермоген сердился на старика за его постыдную трусость.

— А ежели меня вот на этом самом месте убьют?— упавшим голосом объяснял сконфуженный старик.

— Где это?

— А на дворе... Мне это покойная мать Досифея объяснила. Прозорливица была и очень жалела меня...

— А тебе мать Досифея не сказывала, какой сан ты носишь и какой пример другим должен подавать?.. Монах от мира отрекся, чего же ему смерти бояться?.. Только мирян смущаешь да смешишь, отец келарь.

Инок Гермоген не спал сряду несколько ночей и чувствовал себя очень бодро. Только и отдыху было, что прислонится где-нибудь к стене и, сидя, вздремнет. Никто не знал, что беспокоило молодого инока, а он мучился про себя, и сильно мучился, вспоминая раненых и убитых мятежников. Конечно, они в ослеплении злобы бросались на монастырь не от ума, а все-таки большой ответ за них придется дать богу. Напрасная христианская кровь проливается...

Было уже несколько больших приступов, отбитых с уроном у той и другой стороны. Доставалось больше всего мятежникам. В монастыре первым был убит молоденький монашек Анфим. Смирный такой был. Пришел в монастырь незадолго до осады и, несмотря на молодость, пожелал принять иночество. По происхождению он был из сибирских боярских детей. Стоял он на стене рядом с Гермогеном, когда прилетела горячая пуля. Без слова повалился Анфим прямо на руки Гермогену, точно подкошенный. Снес его Гермоген на руках со стены и положил на снег. И сколь же хорош был молоденький монашек, когда лежал на снегу мертвый! Лицо какое-то девичье, льняные длинные волосы, никак воин Христов, и вместе кроткий, как агнец. Горько плакал инок Гермоген над усопшим братом и со слезами выкопал ему могилу. Вся братия плакала, когда хоронили Анфима, а Гермоген больше всех. Очень уж хороший и бесстрашный был монашек... Кругом стояла густая толпа запершегося в монастыре народа и тоже плакала над раннею могилкой раба божия Анфима. Это была первая кровь, пролитая на брани.

— Вот учись, как умирать надо,— заметил Гермоген плакавшему келарю Пафнутию.— Ты — старик, а боишься...

Немало огорчало инока Гермогена и то, что большинство обвиняло именно его в пролитии крови. Подъезжавшие к стенам мятежники так и кричали:

—Эй, Гермоген, побойся бога, не проливай напрасной крови... Келарь Пафнутий давно бы сдал нам монастырь и братия тоже, а ты один упорствуешь. На твою голову падет кровь на брани убиенных. Бог-то все видит, как ты из пушек палишь... Волк ты, а не инок.

В ответ на это с монастырской стены сыпалась картечь и летели чугунные ядра. Не знал страха Гермоген и молча делал свое дело. Но случилось и ему испугаться. Задрожали у инока руки и ноги, а в глазах пошли красные круги. Выехал как-то под стену монастырскую сам Белоус на своем гнедом иноходце и каким-то узелком над головой помахивает. Навел на него пушку Гермоген, грянул выстрел — трое убито, а Белоус все своим узелком машет.

— Эй, Гермоген, принимай гостинец,— кричал Белоус.— Спасибо скажешь, святая душа.

Выискался бойкий башкирятин, подскакал к самой стене и бросил на пике узелок прямо к ногам Гермогена. Все столпились вокруг атаманского подарка.

Почуял беду Гермоген, поднимая узелок. Мягкое что-то завернуто в тряпице, а сверху привязана записка: «Иноку Гермогену от атамана Белоуса». Развернул Гермоген узелок, а из него, как змея, выползла черная девичья коса. Побелел инок, как полотно, и зашатался: он сразу узнал Охонину косу. И стыдно ему стало, и страшно, и обидно. Да, горько посмеялся вольный атаман над смиренным иноком. Подняла эта отрезанная девичья коса старое мирское горе, похороненное под монашескою рясою. Долго стоял Гермоген на одном месте и ничего не видел и не слышал, что делалось кругом.

Кто-то из приспешников уже донес келарю Пафнутию о случившемся поругании всей монашествующей братии, и старик, преодолевая страх, сам отправился на стену, чтобы уговорить Гермогена.

— Не Белоус отрезал косу Охоне, а мать Досифея,— рассказывал он.— Затаил я это самое дело, шtbody чтобы напрасно не тревожить тебя... Ты тут ни при чем. Это писчик Терешка да сланец Брехун подучили атамана. Ихнее это дело.

— А где же Охоня?— тихо спросил Гермоген, не поднимая глаз.

— Была в Дивьей обители на затворе,— а сейчас неведомо где.

Больше ни одного слова не проронил инок Гермоген, а только весь вытянулся, как покойник. Узелок он унес с собой в келью и тут выплакал свое горе над поруганною девичьей красой. Долго он плакал над ней, целовал, а потом ночью тайно вырыл могилу и похоронил в ней свое последнее мирское горе. Больше у него ничего не оставалось.

Опять загудели монастырские пушки, и посыпались чугунные гостинцы на Дивью обитель. Метко стрелял Гермоген и сбил две пушки у Белоуса.

— Это поминки по Охоне,— смеялся Брехун, подружившийся с Терешкой-писчиком.— Не поглянулся Гермогену наш-то подарок... А Белоус ходит темнее ночи.

— Видел он Охоню вдругорядь аль нет?

— И близко не подходит к затвору... Ну, пусть погорюет, а Охони все-таки не воротит. Уела добра молодца дивья красота.

— И не говорит ничего про нее?

— Ни-ни. Теперь и Арефу на глаза к себе не пускает, а тот и рад. У дьячихи своей жирует...

Атаман не подавал и виду, что его заботит присутствие Охони. Да и некогда ему было пустяками заниматься. Осада монастыря затянулась, а тут, того и гляди, подоспеет помощь из Усторожья. Всего два дня перехода до монастыря. Сердился Белоус на свое сборное войско, которое могло только грабить беззащитных, а когда привелось настоящее дело делать, так и нет никого. Мужики-слобожане тоже были несвчны настоящему ратному делу. Шумят, галдят, руками машут, мы да мы, а как пошли на приступ — нет их. Пошлет Гермоген по мятежникам несколько зарядов картечи, и всех точно метлой выметет. И перебито народу до сотни человек совсем напрасно. Белоус чувствовал, как начало колебаться к нему доверие всей этой толпы, набранной с бору да с сосенки. Нужно было торопиться. Гонцы с оренбургской стороны привозили другие вести: сдавались самые крепкие станицы, и батюшка Петр Федорыч шел уже тою стороною Урала.

—Надо будет из-за возов с еном добывать монастырь,— советовал Брехун.— Лучше этого нет средства... К самым стенам подкатим воза.

Конечно, Белоус знал это испытанное средство, но приберегал его до последнего момента. Он придумал с Терешкой другую штуку: пустить попа Мирона с крестным ходом под монастырь,— по иконам Гермоген не посмеет палить, ну, тогда и брать монастырь. Задумано, сделано... Но Гермоген повернул на другое. Крестного хода он не тронул, а пустил картечь на Служную слободу и поджег несколько домов. Народ бросил крестный ход и пустился спасать свою худобу. Остался один поп Мирон да дьячок Арефа.

— Сдавайтесь!— кричал Мирон своим зычным голосом.— Может, батюшка Петр Федорыч и помилует!

— Вот ужо придет к нам подмога из Усторожья, так уж тогда мы с тобой поговорим, оглашенный,— отвечали со стены монахи.— Не от ума ты, поп, задурил... Никакого батюшки Петра Федорыча нету, а есть только воры и изменщики. И тебе, Арефа, достанется на орехи за твое воровство.

— Я не своею волей, братие,— смиренно оправдывался Арефа.

Так выдумка и не удалась, и половины Служней слободы как не бывало. Мужики-слобожане во всем завиняли неистового инока Гермогена, который недавно еще с ними вместе пил и ел, а тут не пожалел родного гнезда. Выискались охотники, которые выслеживали Гермогена, когда он показывался на стене, и стреляли по нем, но иннок точно был заколдован.

— Измором возьмем это воронье гнездо,— грозился Брехун.— Народу заперлось много в монастыре, съедят весь запас, тогда сами выйдут к нам.

Белоус не верил этому. Крепок монастырь, а тут как раз подоспеет помощь из Усторожья. Он как-то вдруг опустил и начал крепко задумываться. Сидит у себя и молчит. Ах, сколько передумала эта буйная казацкая головушка!.. Думала и передумывала, а сердце так огнем и горит. То злоба его схватит к Охоне,— своими руками задавил бы змею подколодную,— то жалость такая схватит прямо на сердце, что сам бы задавился. Жизни своей постылой не рад атаман, а Охоню увидеть боится пуще того. Что он ей скажет, как она ему в глаза посмотрит? Ах, нет, лучше и не думать, а тоска, как змея лютая, сердце сосет... И день и ночь думает атаман про Охоню и про свою несчастную судьбу. Мало ли девушек по казачьим станицам, мало ли красных по уметам, да милой нет... А вот пришла отецкая дочь и заворожила горячее казацкое сердце. Близко пришлась степная красавица, и оторвать ее невозможно. Силы нет... А тут еще люди нашептывают. Слышал как-то атаман, как Брехун и Терешка переговаривались между собой про Охоню, как она сперва Гермогена подманивала, а потом к воеводе сбежала. Своею волею ушла. Целовалась и миловалась с старым да корявым, а про казацкую голову позабыла. Мягко спала, сладко ела-пила, красно одевалась и честь свою девичью на воеводском дворе оставила. Как вспомнит атаман про воеводу, так его точно кто ножом в самое сердце ударит. Схватится он за волосы и застонет... И себя и его погубила Охоня, а взять не с кого. Закроет глаза атаман и все видит, как старый воевода голубит его Охоню. Вскочит он, как бешеный, метнется по комнате и себя не помнит. Не воротить

Охони, не переломить молодецкого сердца, не износить мертвого горя. Нескольким раз ночью атаман подходил к затвору, брался за дверную скобу — и уходил ни с чем: не хватало его силы.

Пока думал да передумывал атаман свое горе, из Усторожья прилетел голец: идут к Усторожью рейтарские полки, а ден через пять и под монастырем будут. Вскинулся атаман, закипел и сейчас же назначил приступ с возами. Надо было добывать монастырь теперь же, не медля, пока помощь не подоспела. Загудела опять Дивья обитель. Теперь снимали пушки и перевозили их в Служную слободу, против главных монастырских ворот. Сено было заготовлено раньше. Главный приступ был назначен ночью, чтобы застать монахов врасплох. Умаялся двухнедельною осадой Гермоген и бродит по монастырю как тень. Не укрылось от него, как готовили засаду воровские люди. Все он видел и все понимал. Монастырские пушки незаметно были поставлены поближе к воротам, чтобы встретить гостей честь честью. Приготовлены были и пищали, и ружья, и сабли, и камни, и горячая смола. Сам келарь Пафнутий оставил свой бабий страх и торжественно исповедал и причастил всех мужчин, готовившихся к бою. Неизвестно, кто жив останется, а кого бог приберет.

А тут и ночь на дворе, настоящая волчья ночь, когда хоть глаза выколи — ничего не увидишь. Не спит монастырь. Женщины и дети собрались в церкви, а мужчины у пушек, в бойницах, на башнях. Снежок около ночи начал падать, значит, теплее будет. Ходит Гермоген по стене и слушает. Тихо в Служней слободе, только мелькают огоньки, точно волчьи глаза. Слышится изредка сдержанный конский топот. Но вот грянула первая пушка, и ядро пробило монастырские ворота. Со стены ответила монастырская пушка, наведенная прямо на Служную слободу. С этого и началась осада. Незаметно в темноте подкатились воза с сеном к самым стенам, а из-за них невидимые люди стреляли кверху и лезли по лестницам на стены. На стенах завязалась рукопашная. Все мятежники надели через левое плечо по белому полотенцу и по этому знаку отличали своих от чужих. В темноте слышался один громкий голос, который посылал все вперед, — это был сам атаман. Он скакал на своей лошади под стеной, а потом бросил лошадь и полез на стену впереди других. Этого только и ждал Гермоген. Навел он все пищали, и посыпались с лестницы убитые, а атаманский голос замолк. Служная слобода опять горела, и зарево пожара освещало теперь страшную картину. Мало было защитников в монастыре, притомились все, а некоторые были уже перебиты. Зато не убывал народ под монастырской стеной, а подходили все новые силы. Ожесточение росло. Смутилась монашеская братия и другие монастырские вои, но в это время показался келарь Пафнутий с крестом в руках и стал ободрять смутившихся. Он стоял посредине двора, и здесь его положило неприятельское ядро. Окончательно смутился весь народ, но в это время толпа мятежников начала ломиться в главные ворота, и все бросились туда. Гермоген сам навел большую пушку, стоявшую во дворе, и приложил фитиль. Грянул страшный выстрел, ядро пробило ворота и пронеслось в Служную слободу, оставив на своем пути до десятка убитых. Простреленные ядрами ворота еще держались на железных связях, и их заваливали изнутри бревнами и кирпичами.

Так шайка и не могла взять монастыря, несмотря на отчаянный приступ. Начало светать, когда мятежники отступили от стен, унося за собой раненых и убитых. Белоус был контужен в голову и замертво снесен в Дивью обитель. Он только там пришел в себя и первое, что узнал, это то, что приступ отбит с большим уроном.

— Надо, атаман, убирать подобру-поздорову пяты,— советовал Терешка.— Черт с ними, с монахами... Того гляди, из Усторожья нагрянут рейтары и драгуны.

— Уходи, коли боишься... — Да я так...

Неудачный приступ навел на всех тяжелое уныние. Белоус велел отступать по дороге на заводы. Сначала был двинут обоз с запасами, за ним везли пушки, а после всех следовала пестрая толпа пехарей. Из Служней слободы многие пристали к шайке. В Дивьей обители оставался один атаман со своею казачьего сотней. Белоус точно еще на что-то надеялся и все выжидал. Так прошло томительно долгих три дня. Атаман не двигался. Казаки уже начинали роптать, попрекая его неудачным походом. Сколько людей перебито, сколько пороху изведено, а толку на волос нет.

Наконец прилетел гонец с известием, что три рейтарских полка выступили из Усторожья по дороге к монастырю. Тогда атаман отпустил свою сотню, сказав, что догонит ее на дороге. С ним остались только Терешка и Брехун.

— Атаман, смотри, живьем заберут...

Рейтары были уже совсем близко, у Калмыцкого брода через Яровую, когда Белоус наконец поднялся. Он сам отправился в затвор и вывел оттуда Охоню. Она покорно шла за ним. Терешка и Брехун долго смотрели, как атаман шел с Охоней на гору, которая поднималась сейчас за обителью и вся поросла густым бором. Через час атаман вернулся, сел на коня и уехал в тот момент, когда Служнюю слободу с другого конца занимали рейтары. Дивья обитель была подожжена.

Охоня была найдена зарезанной на горе, в виду Служней слободы.

Инок Гермоген с радостью встретил подмогу, как и вся монашеская братия. Всех удивило только одно: когда инок Гермоген пошел в церковь, то на паперти увидел дьячка Арефу, который сидел, закрыв лицо руками, и горько плакал. Как он попал в монастырь и когда,— никто и ничего не мог сказать. А маэор Мамеев уже хозяйничал в Служней слободе и первым делом связал попа Мирона<...>.

Практическое занятие

Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка

План

1. Биография Д.Н. Мамина-Сибиряка.
2. Основные вехи творческого пути писателя (периодизация творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка).
3. Тематика и проблематика романов Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы», «Три конца» и др.
4. Изображение пугачевского бунта в повести Д.Н. Мамина – Сибиряка «Охоины брови»:
 - пугачевский бунт в Зауралье (по материалам А.Н. Зырянова);
 - отражение деятельности Пугачева в фольклоре (в исторических песнях и исторических преданиях):
 - образная система повести;
 - отношение автора к пугачевскому бунту.
5. «Уральские рассказы» в творческом наследии писателя.
6. Детские произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Список литературы

1. Русские народные исторические песни о крестьянских войнах и восстаниях. М. ; Л. 1956.
2. Зырянов, А.Н. Крестьянское движение в шадринском уезде Пермской губернии в 1843 году. Очерк по документам и свидетельствам очевидцев // Шадринская старина: краеведческая хрестоматия (II п. XVII - пер. пол. XVIII вв.). Шадринск , 1996.
3. Исторические песни. М., 2001.
4. Народная проза. М., 1992.
5. Предания и легенды России. М., 1992.



Константин Дмитриевич Носилов (1858-1923)

К.Д. Носилов родился 17 октября 1858 года в селе Маслянском, Шадринского уезда, Пермской губернии, в семье священника. С раннего детства у него проявился интерес к природе, к людям, к путешествиям и приключениям, что во многом определило путь писателя.

Деятельность Носилова многогранна. Константин

Дмитриевич занимался геологической разведкой, изучал флору и фауну в Верхотурском уезде. Писатель провел три зимовки на архипелаге Новая Земля. Здесь он занимался метеорологией, изучением животного мира, проблемами Северного морского пути. Совершил несколько путешествий на Обский Север. Он также путешествовал по Китаю, Северной Африке, Северной Америке, был во многих европейских странах.

Широкую известность как писатель Носилов приобретает в предреволюционные годы. Он является автором нескольких сборников очерков и рассказов. Это — «В снегах», «На охоте», «У вогулов», «Золотое время», «На диком Севере», «В лесах», «За полярным кругом», «У рыбаков и звероловов Севера». Очерки и рассказы Носилова разнообразны по тематике, охватывают большой круг жизненных явлений, раскрывают общественные отношения, изображают жизнь народов далеких северных окраин и близких писателю зауральцев. Особенно популярны были рассказы и очерки, посвященные народам Севера («Вогул Савва», «Остяки», «История одной полярной зимовки», рассказы «Из жизни вогулов», «Юдик» и др.). В них писатель рассказывает о жизни и быте северных народов, о взаимоотношениях русских и аборигенов Севера.

Многие произведения К.Д. Носилова посвящены детям. Через поступки и поведение автор раскрывает перед читателем внутренний мир юного героя. Рассказы «За саранками», «Волки», «Дедушкины журавли» автобиографичны. В них действует живой любознательный ребенок, который всматривается в окружающий мир и по-детски наивно его воспринимает.

Особую группу рассказов составляют очерки и рассказы о животных, они полны наблюдений над жизнью домашних животных и диких зверей (Яхурбет, «Тасо», «Соболек», «Пип» и др.).

СЕРЕБРЯНАЯ БАБА

Когда я путешествовал у вогул, жил в Оронтур-пауле в вершине реки Конды, в мою маленькую невзрачную юрточку часто заходил один слепой вогул по имени Савва.

Услышит, что я сижу один в юрте, кликнет внучку, возьмет свой костыль, и та поведет его ко мне в юрту. Подойдет старик Савва к юрте, приотворит дверцы, просунет седую лысую голову и спросит, можно ли зайти. Я никогда не отказывал ему в своем гостеприимстве. Скажешь: «Зайди, зайди, дедушка». Он затащится, пыхтя, в избу, поздоровается, сядет на голый пол и протянет свои старые босые ноги.

Седой, с парой маленьких кос, как у наших старых пономарей в былое время, с открытым добрым лицом, приподнятом к свету, с крупными морщинами на нем, в белой рубахе, с берестяной табакеркой в руке, в полосатых штанах, с маленькой седенькой бородкой, без усов, с протяжной ровной речью, на полу моей комнаты, он представлял такого типичного, оригинального старика-вогула, что так и просился на желатин фотографической пластинки. Он был бедный: его старая юрта давно уже одиноко стояла на берегу озера, посещае-

мая только зайцами, да ребятами; его вотчина, громадная вотчина с непроходимыми лесами, громадными озерами, речками и угодьями для рыбной ловли и зверя, давно уже ждала его смерти, чтобы стать выморочной — и давно уже его не кормила, так что он уже несколько десятков лет как состоял на руках общества, вместе со своей старухой, живя порознь там, где укажет им сердобольное общество, в какой-нибудь семье богатого вогула. И мне не раз приходилось по этому видеть, как бредет через озеро Орон-тур по льду с костылем его старуха, идя в наши юрты попроведать своего старика, или как отправлялся он опять к ней в сопровождении своей маленькой, такой же бедной, как и он, всей в рамках, черненькой внучки — маленькой вогулочки.

Я любил этого слепого старика за его радушие и простоту и особенно всегда был рад его посещениям, — такой они всегда оставляли значительный след в моих дневниках.

Он же любил заходить ко мне, вероятно, потому, что я обязательно каждый раз не забывал давать ему маленькую пачку нюхательного табаку, который был в их лесах настоящей редкостью.

Зайдет ко мне в юрту Савва, запру я двери опять на крючок, как я имел обыкновение делать, когда занимался, во избежание частых посещений лакомых до моих конфет ребятишек, которые таскали мне с берега разные черепки доисторического человека, — сяду за стол, возьму карандаш и начну расспрашивать старика Савву, как прежде жили вогулы, как прежде они воевали с русскими и самоедами в этих лесах.

Старик Савва прекрасно знал про старое время и, кроме того, что видел сам своими глазами в жизни в своих лесах, он обладал еще такой замечательной для его старости памятью, что из слова в слово передавал интересную былинку про старое время и знал их такое количество, что мне по горло было с ними работы.

Знал ли он, что я записываю все его слова карандашом на бумаге, я не знаю; я стеснялся говорить сам ему об этом, другие, благодаря запертым дверям, этого не могли видеть и ему передать, но я полагаю, что он не только не знал, что я делаю, сидя у стола и шелестя бумагой, но даже и не имел понятия о том, как пишут.

Это было крайне выгодно для меня; он не стеснялся в своих повествованиях и порой, увлекшись, даже передавал мне такие вещи о своих богах, что я полагал, что он забывал, кому он рассказывал это своей ровной речью, вероятно, думая, что перед ним сидит свой брат вогул.

Другой раз, проговорившись, очнувшись, старик, было, спохватывался, что сказал лишнее постороннему человеку, и начинал просить меня, чтобы я как не сказал этого вогулам, которые и так подозрительно посматривали на наши беседы; но я говорил ему, что буду молчать, скоро совсем покину их юрты, и он живо успокаивался, и продолжал свою ровную речь, отдаваясь вполне воспоминаниям того, что он когда-то знал и видел в своей жизни.

И сколько таинственного я узнал от этого старика про жизнь и верования вогулов, сколько я записал с его слов былин и сказок, сколько узнал секретно-

го про их богов, которые спрятаны в их лесах и ждут себе кровавых жертв от человека.

Раз даже, благодаря его указаниям, я сам тихонько сходил с моим спутником на соседний мыс озера Орон-тур посмотреть одно место жертвоприношений; в другой раз — по его словам — мне тихонько доставил один его родственник за полтину целого старого идола с реки Конды, который был так уже стар, что ему вот уже полстолетия никто не хотел приносить жертвы.

С этим идолом в виде целого полена, с изображением глаз и громадного носа, который весь уже обуглился от времени, чуть мы даже не навлекли на себя со стариком опалу, но к счастью, я успел защитить старика, сказав, что я нашел его на берегу реки Конды, гуляя раз вечером, и принес в свою юрту.

Это обстоятельство так повлияло на старика, что он смело доверял мне самые тайные вещи про верования, и раз мы целый день просидели с ним, запертые в юрте, к общему удивлению вогул, которые решительно недоумевали, что мы делаем, сидя весь день, запершись в юрте.

Между тем, в этот счастливый день моего дневника мы разговаривали со стариком о «серебряной бабе».

Слушая его рассказ про разных богов, как их зовут, где они скрыты, кто их караулит, чем они все замечательны, мне как-то пришло в голову спросить старика, не знает ли он что про знаменитую «золотую бабу», которую еще во время Стефана Великопермского, когда крестились пермяки и зыряне, перенесли язычники за Уральский хребет, чтобы скрыть от христианства.

— Знаю, знаю, слышал, — ответил мне старик Савва и стал рассказывать мне все, что он знал про «золотую бабу».

— Она не здесь, но мы ее знаем. Она тогда же через наши леса была перенесена верными людьми на Обь, где она теперь, у остяков ли где в Казыме, у самоедов ли где в Тазу, я точно не знаю, но с той поры, как она здесь была, у нас остался с нее слиток — «серебряная баба», которая и до их пор хранится у одного вогула в самой вершине нашей реки.

Это меня страшно заинтересовало, и я стал расспрашивать старика про «серебряную бабу».

— Где она хранится, дедушка?

— Она в Ямпель-пауле; юрты есть такие, еще выше нас по реке, в самой вершине Конды. Прежде там было еще когда-то несколько домиков; жил один-другой вогул, но все уже давно вымерли. Теперь там всего одна старая юрточка, и живет в ней давно уже последний вогул-старик. Умрет он, перестанет и гореть огонь в чувале этих юрт, кончится и род ямнелов.

— Далеко она от Оронтур-пауля?

— Далеко-недалеко; прямо в один день можно на лыжах перебежать, да летом попасть в нее только трудно; нужно рекой ехать да озерами, и поезжай так, разве-разве на третий день туда попадешь, если не заблудишься!

— Как же этот вогул ездит к вам?

— Он вовсе и не ездит, никогда и мы, почитай, к нему не ездим, разве-разве когда промышленник какой за лосями весной погонится да забежит в его

юрту, или за бобром отправится в его речку, а то годами мы совсем и не знаем, как он там и живет, жив ли.

— Как же он живет там, не выдаючи человека?

— Как живет? Так и живет, как прежде жили вогулы. Живет себе, ловит зверя и птицу, питается и одевается, муки, хлеба ему не нужно, чай он наш не пьет, подати мы за него заносим, в общество служить не зовем, знаем, что человек он нужный — «серебряную бабу» нашу хранит; так и живет.

— Ты видел ее, дедушка?

— Не раз, не два видел на своем веку... — ответил Савва.

— Какая же она?

— Серебряная...

— На кого же походит? Как сделана?

— На бабу походит, бабой и сделана...

— Одета?

— Нет, голая... Голая баба — и только... Сидит. Нос есть, глаза, губы, все есть, все сделано, как быть бабе...

— Большая?

— Нет, маленькая, всего с четверть, но тяжелая такая, литая; по «золотой бабе» ее и лили в старое время: положили ту в песок с глиной, закопали в землю, растопили серебра ковш и вылили, и обделали, и вот она и живет...

— Где же она у этого ямнельского вогула хранится?

— В юрте хранится, в переднем углу. Как зайдешь к нему в юрту, у его в переднем углу полочка небольшая сделана, занавесочкой закрыта, за ней в ящичке старом она и сидит. Как откроет ящик — и увидишь ее на собольей шкурке. Сидит у стенки, голая, и смотрит.

— Показывает он всем ее?

— Нет, что ты, как можно казать ее всем; русскому не покажет ни за какие деньги, да русский там сроду и не бывал, он только до наших юрт и то с трудом доезжает; даже вогулу другому и то показать нельзя.

— Отчего же?

— Всякие ныне и вогулы стали; другой только и караулит, как бы бога какого обокрасть; сколько богов у нас уже в лесах пропало, и серебро с ними, и вещи старинные, и шкурки дорогие...

— Отчего же вогулы обкрадывают богов?

— Отчего? Изверились в них. Другого бога ни во что не ставят, ругают еще, что не помогает; есть, вон, другие: сделает себе бога, поставит в юрту, оденет его, начнет кормить и мясом, и салом, и почками; станет просить его, когда пойдет на охоту, чтобы он зверя ему нагнал, соболя; пойдет в лес, ходит, ходит неделю: ни ему зверя, ни ему птицы какой; рассердится, приедет в юрту, выпорот вицей своего бога и пять посадит в угол. Случается, после этого бог его послушает, случается — нет. Смотрит, смотрит вогул на него, видит — пользы нет: вытащит из переднего угла бросит в воду — пльиви, куда хочешь, если добром не живешь в юрте... Вот как с ними иной наш брат справляется, — как же теперь не найдутся такие люди, которые совсем не верят в богов и

только обворовывают их? Вот почему мы и скрываем таких богов даже от своего же брата вогула.

— Но других же пускает этот ямнельский вогул посмотреть серебряную бабу?

— Редких пускает, редким показывает — открывает занавеску тем, которых только хорошо знает, а другие хотя и приходят к нему нарочно с дарами для «серебряной бабу», чтобы попросить ее о чем-нибудь, так, помолятся на занавеску, приложат шкурку, серебро старинное и уйдут.

— Нельзя всякому показывать эту бабу, — после маленького раздумья снова заговорил старик Савва. — Раз что было...

— Что?

— Украли эту бабу.

— Вогулы?

— Семка наш, из соседних юрт, что пониже...

— Как?

— Просто: зашел туда лесами, будто за бобрами или сободем, подкараулил, как старик вышел в лес из юрты, пробрался в юрту, сломал ящик и унес бабу...

— Неужели, дедушка?

— Верно. Унес и попу нашему сатыгинскому продал.

— Может быть, тот нарочно посылал его за ней.

— Кто их там знает, только мы слышим — «серебряная бабу» пропала, старик сам прибежал к нам ночью на лыжах. Подняли народ на лыжи, пошли следить и нашли старую лыжницу: прямо к Семковой юрте и привела лесом. «Ты украл», — спрашиваем, — «серебряную бабу»? — «Я», — говорит, не отпирается.

— «Где она?» — «У попа, в Сатыге». Ну, не без того было, что поколотили его старики...

— Как же вы ее достали от священника?

— Выкупили.

— Как?

Выкупили. Стали просить, дали ему десять лучших соболей — отдал. Только тарелку серебряную, старинную, что была приложена «серебряной бабу» в старину, да деньги серебряные, старые рубли, не отдал.

— Что же вы Сеньке сделали?

— Что сделаешь ему? Поколотили и только.

— И с тех пор «серебряная бабу» опять в Ямнелях?

— Опять. Только теперь старик уж не расстаётся с ней и никого к себе в юрту даже спать не пускает — боится...

— Как же он на охоту ходит?

— С собою и в лес ее носит.

— С ящиком?

— Нет. Он ее завертывает в шелковый старый платок вместе с старыми серебряными рублями: на одну сторону кладет четыре рубля, а на другую —

три, завертывает ее с ними платком, кладет в небольшой мешочек из молодого лосиного уха и носит этот мешок на спине, когда охотится на зверя, вместе с натрусками и рожками для пороха и пуль... и спит с ним в лесу, и ходит.

— Чем же эта «серебряная баба» замечательна?

— Она помогает сильно бабам: у нас ребят мало, народ вымирает, вот к ней за ребятами и ходят мужики, и жертвуют... И промыслам тоже помогает.

— Что же ей приносят?

— Больше шелковые платки, потом серебро она любит и шкурки дорогие...

— Куда же все это после идет?

— На нее идет; серебро кладут в ящик, шкурки стелют под нее, платками ее закрывают, окутывают.

— И она помогает?

— Сильно помогает: старик ямнельский каждую весну по 20, по 30 лосей убивает одних, соболей сколько промышляет, лучше всех нас он промышляет. Просит он ее-бабу.

— Куда же он с соболями?

— Жертвует ей; когда нам отдает за сетки и мережи, за порох и ружье, за разную провизию.

— Сам никуда уже не выходит?

— Никуда, он весь век прожил в лесу, не видючи ничего на свете, так и умрет.

— Прежде, — начал он снова, — все вогулы так жили: живут себе в лесу, одинокие, и они к кому, ни другой кто к ним; только и видались, когда сбегутся в лесу за зверем, или один зайдет в погоне за лосем к другому в вотчину и забежит в юрту на ночь или от погоды. И хорошо было: друг другу жить не мешали, ссор не было, народ был лучше, всякий ест свой кусок мяса, всякий ловит в своей реке и в своем озере, и только съезжались когда, то разве редко-редко для общественных дел, да и то, бывало, съедутся раз лет в десять. Весь век вогул, бывало, живет в лесу со зверьем и птицами; раздолье, везде было всего много, жить было легко, а теперь и зверя, и рыбы в лесу и реке уменьшилось.

— Отчего же?

— Человек переменялся, богов забыл. Вот та же «серебряная баба», разве она так жила бы теперь — без добрых людей и без приклада? А теперь разве-разве кто в десять лет когда нарочно к ней приедет из дальних юрт, да что приложит, а прежде что было?

— Что?

— Как на праздник к ней собирался народ, наедет в Ямнель-пауль сколько народа, наведут оленей, навезут ей серебра, парчи, шелку, соболей, чернобурых лисиц, нашьют бабы ей одежды разной, изукрасят ее всякими дорогими вещами, поставят перед ней серебряные тарелочки с кровью и мясом, и кланяются, просят... Целую неделю шумят в Ямнеле — настоящий праздник. И она помогала промышленникам, посылала и соболя, и лосей, и бобра, и белку. Бобра сколько, сказывали старики, около нее по урману, по маленьким речкам жило. — пропасть: палками били, бабы малицы бобровыми шкурами обшивали, а

ныне и белой собачьей шкурки у другой нет на подол, для прикрасы. Плохо стал жить народ, богов своих бросил, и они его покинули.

И старик Савва задумался, поник головой.

— Что же с этой «серебряной бабой» будет впоследствии?

— Что будет? Умрет ямнельский старик, и держать ее некому будет: нет у нас надежного человека, нет и надежного угла для нее в наших урманах.

— Отчего же?

— Вымер вогул, мало его стало, а какой остался, так тот не только ее хранить, готов продать ее или переделать на вещи ради жадности. Вот, посмотри, кто-нибудь ее опять украдет и продаст русскому попу или купцу; купцы давно уже до нее добираются, знают про нее, слыхали; и когда-нибудь да добьются ее с нашим пьянством. Поди, напой вином того же опять Семку, и он непременно ее тебе скараулит и принесет. Отчаянный народ ныне, горе...

Но мысль подкупить вином Семку, которого я хорошо знал, как мне ни хотелось посмотреть «серебряную бабу», мне не понравилась. Я страшно был заинтересован этим идолом, мне хотелось его видеть, хотя бы сфотографировать, и я решил сам лучше попросить, добравшись до ямнельских юрт, этого старика, который вечно носит ее за спиной в лосином ухе, чтобы он показал ее мне добровольно.

И, отпуская в тот вечер старика Савву, я глубоко задумался о том, как это сделать, и решил сам побывать в Ямнеле.

Но обстоятельства так сложились, что побывать мне самому на Ямнеле решительно не удалось: наступила весна, пришлось с вогулами идти на бобровые речки доставать для зоологического конгресса бобра, который был такой же редкостью этого края, как и «серебряная баба», и я вместо себя послал в Ямнель-пауль своего молодого спутника, которому поручил повидать «серебряную бабу».

Мой спутник ездил целую неделю на легком челноке и рекой Кондой, и озерами, и даже прямо лесами, так как разливы в этих местах заливают не только луга, берега, но и леса, на десятки верст, благодаря низменному месту, и во время весны прибрежные леса Конды стоят на сажень в воде: мне самому не раз приходилось ездить целые станции на лодках по тем дорогам, по которым я проезжал зимой прямо лесом. Мой спутник вдоволь насмотрелся на дикую природу, видел озера и реки, видел потопленные леса, видел целые мосты через реки и речки из снесенного леса, бродил по урманам, видел свежие следы медведей и лосей, охотился. Даже осмотрел бобровые жилища, но совсем не видал старика ямнельских юрт, который на время половодья, оказывается, переселяется куда-то дальше в леса урмана, так как его юрточку топят водой в половодье.

Действительно, мой спутник нашел его жилище, окруженное водой разлива: бедная юрта была вся в воде, и он прямо заехал в челноке в ее сени, чтобы сделать визит божеству.

В юрте не оказалось ничего замечательного, кроме пыли и грязи; в сыром чувале он с трудом развел огонь, чтобы напиться чаю и переночевать, и оставил эту юрточку на другой день с такой охотой, так она показалась ему негосте-

приимной, с какой, пожалуй, ему еще не случалось бежать от гостеприимства в этих лесах.

Спустя немного времени мне совсем привелось покинуть этот край, и где теперь «серебряная баба», жив ли старик ямнельских юрт — я не знаю. Но, будучи после того не раз на понизовьях Оби, выдаючи и расспрашивая казымских остяков, выезжающих летом на Обь для рыбной ловли, расспрашивая и самоедов далекого Ямала, я, как мне ни хотелось, ничего почти не мог узнать положительного о существовании «золотой бабы», про которую неопределенно мне сказал слепой старик Савва, что она унесена была в Казым или на понизовье Оби к реке Тазу.

Существует ли где еще этот исторический памятник язычества пермяков и зырян Печорского края, таким образом, неизвестно, но было бы крайне любопытно достать в наши этнографические музеи хотя этот слиток с нее, «серебряную бабу», — которую теперь уже не так легко, как видит читатель, приобрести тем или другим способом для музея, — вместо того, чтобы она была украдена и перелита каким-нибудь заезжим торгашом из русских, которому будет дорого в ней не то, что она слиток, копия с знаменитой «золотой бабы», что она сама по себе ценность, как старое божество вогулов, а то, сколько в ней он найдет серебра, ценного металла.

И я думаю, что наши миссионеры в этом отношении легко бы оказали нам в этом услугу, выманив эту драгоценность кондинских вогулов в свои руки из рук изверившихся и не дорожащих уже ею вогулов.

Практическое занятие

Творчество К.Д. Носилова

План

1. Биография писателя.
2. Периодизация творчества писателя.
3. Тематика и проблематика произведений К. Д. Носилова:
 - тема детства в произведениях писателя («Юдик», «Таня Логай», «Галейко», «Тимка-переселенец», «Катя Богданова» и др.);
 - народы севера в творчестве К. Д. Носилова («Вогул Савва и его внуки», «Остяки», «Ясак», «История одной полярной зимовки» и др.);
 - очерки и рассказы о природе и животных («За карасями», «Медвежье царство», «Полярная буря», «Тундра и ее обитатели», «Яхурбет», «Тасо», «Пип» и др.).
4. Жанровое своеобразие и художественные особенности произведений К.Д. Носилова.

Список литературы

1. Носилов К.Д. Северные рассказы. Свердловск, 1938.
2. Омельчук А.К. Арктическая разведка: Очерки. М, 1983.
3. Омельчук А.К. К. Носилов. Свердловск, 1989.
4. Осинцев Л.П. Носиловские дачи. Курган, 1993.
5. Осинцев Л.П. Писатель и географ К.Д. Носилов. Челябинск, 1974.
6. Янко М.Д. Литературное Зауралье. Курган, 1960.
7. Янко М.Д. Очерки и рассказы К.Д. Носилова. Курган, 1958.
8. Янко М.Д. Советские писатели Зауралья. Курган, 1973



Павел Петрович Бажов (1879–1950)

П.П. Бажов родился 15 января 1879 на Сысертском заводе близ Екатеринбурга в семье потомственных горнозаводских мастеров. Семья часто переезжала с завода на завод, что позволило будущему писателю хорошо узнать жизнь обширного горного округа и отразилось в творчестве – в частности, в очерках Уральские были (1924). Бажов учился в Екатеринбургском духовном училище (1889–1893), затем в Пермской духовной семинарии (1893–1899). До 1917 работал школьным учителем в Екатеринбурге и Камышлове. Каждый год во время летних каникул путешествовал по Уралу, собирал фольклор. О том, как сложилась его жизнь после Февральской и Октябрьской революций, Бажов писал в автобиографии: «С начала Февральской революции ушел в работу общественных организаций. С начала открытых военных действий вступил добровольцем в Красную Армию и принимал участие в боевых операциях на Уральском фронте. В сентябре 1918 года был принят в ряды ВКП(б)». Работал журналистом в дивизионной газете «Окопная правда», в камышловской газете «Красный путь», а с 1923 – в свердловской «Крестьянской газете». Работа с письмами читателей-крестьян окончательно определила увлечение Бажова фольклором. По его позднему признанию, многие из выражений, найденных им в письмах читателей «Крестьянской газеты», были использованы в его знаменитых уральских сказах. Бажов стремился выработать собственный литературный стиль, искал оригинальные формы воплощения своего писательского дарования. Это удалось ему в середине 1930-х годов, когда он начал публиковать свои первые сказы. В 1939 Бажов объединил их в книгу Малахитовая шкатулка (Государственная премия СССР, 1943), которую впоследствии дополнял новыми произведениями. Бажов отдал дань правилам «социалистического реализма», в условиях которого развивалось его даро-

вание. Героем нескольких его произведений стал Ленин. Образ вождя революции приобрел фольклорные черты в написанных во время Отечественной войны сказах Солнечный камень, Богатырева рукавица и Орлиное перо. Незадолго до смерти, выступая перед писателями-земляками, Бажов говорил: «Нам, уральцам, живущим в таком краю, который представляет собой какой-то русский концентрат, представляет собой сокровищницу накопленного опыта, больших традиций, нам надо с этим считаться, это усилит наши позиции в показе современного человека». Умер Бажов в Москве 3 декабря 1950.

ЖИВИНКА В ДЕЛЕ

Это еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было.

Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали.

На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились, — как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти шутки не зарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот драчлив не живет.

По работе Тимоха вовсе емкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает.

По нашим местам ремесло, известно, разное.

Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинешку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножик да вилки в узор разделявают, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора позволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Одним словом, пестренькое дело, и ко всякому сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается.

Про эту живинку и посейчас не все толком понимают, а с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям.

Он, этот Тимоха,— то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась,— придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да еще похваляется:

— В каждом до точки дойду.

Семейные и свои дружки-ровня стали отговаривать:

— Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.

Тимоха на своем стоит, спорит да по-своему считает:

— На лесовала — две зимы, на сплавщика — две весны, на старателя — два лета, на рудобоя — год, на фабричное дело — годов десятков. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганочком пофуркивай, либо шильцом колупайся.

Старики, понятно, смеются:

— Не хвастай, голенастый! Сперва тело изведи.

Тимохе нейдет.

— На всякое, — кричит, — дерево влезу и за вершинку подержусь.

Старики еще хотели его урезонить: вершинка, дескать, мера ненадежная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают — одна ниже, другая выше.

Только видят — не понимает парень. Отступились. Твое дело. Чур, на нас не пенять, что вовремя не отговорили.

Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать.

Парень ядреный, к работе усерден — кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить — милости просим. И к тонкому делу допуск без отказа, потому — парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.

Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило.

Женатый уж был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:

— Ну как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь али в шорники на пожарную подался?

Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:

— Придет срок—ни одно ремесло наших рук не минует.

В эти вот годы Тимоха объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:

— Что ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь! Рубах у тебя не достираешься. Да и какое это дело! Чему тут учиться?

Это она, конечно, без понятия говорила. По нынешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают:

— Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и квелога самая малость.

Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил:

— Недолго, поди-ко, замазанным ходить буду.

Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера.

По угольному делу тогда на большой славе считался дедушко Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался— нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.

К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слышал и говорит:

— Принять в выученики могу, без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь.

Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:

— Даю в том крепкое слово.

На этом, значит, порошили и вскорости в курень поехали.

Дедушка Нефед — он, видишь, из таких был... Обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахи расколоть, а у него и тут разговор:

— Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем наисходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?

Тимоха отвечает: топор направлен и рука привычная.

— Не в одном,— отвечает,— топоре да привычке тут дело, а я ловкие точечки выискиваю.

Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать.

Дедушка Нефед все объясняет по совести, да и то видит Тимоха — правда в Нефедовых словах есть да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка все же останется: может, еще бы лучше по другой точечке стукнуть.

Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался.

Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не считаешь. С мокрого места сосна — один наклон, с сухого — другой. Раньше рублена — так, позже — иначе. Потолще плахи — продухи такие, пожиже — другие, жердевому расколу особо. Вот и разбирайся. И в засыпке земель тоже.

Дедушка Нефед все это объясняет по совести,— да и то вспоминает, у кого чему научился.

— Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они — охотники-то — на это дошлые. А польза сказалась. Как учую — кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пушу. Оно и ладно.

Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться да и говорит: «С этого боку жарче горит».

— Как, — спрашиваю,— узнала?

— А вот обойди,— говорит,— кругом — сам почувешь.

Обошел я, чую — верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать.

Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомним:

— По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел — либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон звоном.

Тимохе все это любопытно. Видит — дело не простое, попотеть придется, а про живинку все-таки не думает.

Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил, а все же, как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется.

— А почему так? — спрашивает дедушка Нефед, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?

Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал, а все-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивается:

— Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.

Тимоха и сам дивился — почему раньше такого с ним никогда не случилось.

— А потому,— объясняет дедушка Нефед,— что ты книзу глядел — на то, значит, что сделано; а как кверху поглядел — как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!

По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом, да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел смолоду все ремесла одолеть, да в углежогах застрял.

— Никак,— говорит,— не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.

А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.

Как дедушка Нефед умер, так Малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях сыпали, Прямо сказать, мастер в своем деле был.

Его-то внуки-правнуки посеичас в наших местах живут. Тоже которые живинку — всяк на своем деле ищут, только на руки не жалуются. Понимают, поди-ко, что наукой можно человетчи руки наростить выше облака.

Практическое занятие

Сказ в творчестве П.П. Бажова

План

1. Творческий путь писателя:
 - биография писателя;
 - П.П. Бажов – журналист;
 - творчество разных периодов.
2. Образ сказителя в произведениях П.П.Бажова. Способы формирования образа рассказчика:
 - интонационный строй;
 - строй образной речи: слово как произведение в произведении;
 - самохарактеристика рассказчика (сказителя): наличие – отсутствие;
 - иные способы (стилизация, пародирование, фельетонирование и др.).
3. Способы живописания в произведении: колористка, фантастическое, юмористическое.
4. Фольклорно-мифологические основы сказов П.П. Бажова.

Список литературы

1. Павел Петрович Бажов в воспоминаниях. Свердловск, 1953.
2. Павел Бажов: воспоминания о писателе. М, 1961.
3. Павел Петрович Бажов: сборник статей и воспоминаний. Молотов, 1955.
4. Батин М.А. Павел Бажов. М., 1976 .
5. Батин М.А. П. Бажов: жизнь и творчество. М., 1963.
6. Гельгардт Р.Р. Стиль сказов Бажова. Пермь, 1958.
7. Саранцев А.С. Павел Петрович Бажов: жизнь и творчество. Челябинск, 1957.
8. Поэтика сказа. Воронеж, 1978.
9. Михнюкевич В.А. Литературный сказ Урала: Истоки. Традиции. Поиски. Иркутск, 1990.



Евгений Александрович Федоров (1897-1961)

Е.А. Федоров родился 15 января 1897 года в селении Видзы Ковенской губерния в семье крестьянина-бедняка. В начале XX века семья Федоровых перебирается на Южный Урал. О детстве, прошедшем в казачьей станице, он рассказал в автобиографической повести «У горы Магнитной». С большим трудом удалось ему получить среднее образование.

В 1912 году Федоров приехал в Санкт-Петербург. Работал в типографии переписчиком, корректором и упорно учился. Был участником 1-ой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны. Контузия, госпиталь и демобилизация. Работа землеустроителем в Белоруссии, в Крыму, на Урале.

В 1931 году Е.А. Федоров сдает экстерном экзамен на звание инженера и затем несколько лет находится на руководящей хозяйственной работе. Первый рассказ Е. А. Федорова — «Случай с Никиткой-ревизором» — увидел свет еще до революции. В 1918 году в журнале «Пламя» появляются новые рассказы молодого писателя, систематическая же литературная работа начинается только после окончания гражданской войны.

В 1936 году выходят его первые сборники рассказов — «Воронья кобыла» и «Соломоня» —, в эти же годы растет интерес к исторической теме. С середины 30-х годов, живя в Ленинграде, Федоров посещает занятия литературной группы при Гослитиздате. На областном смотре в 1936 году его сатирическая повесть «Шадринский гусь» получает первую премию. Работает Е.А. Федоров много и жадно. Печатаются его повести, рассказы, первые главы исторического романа «Демидовы».

Великая Отечественная война была для батальонного комиссара Федорова третьей войной, дорогами которой он прошел плечом к плечу с защитниками Ленинграда и партизанами. И о военном лихолетье писатель не выпускал из рук пера: вышло несколько книг об этом суровом и героическом времени — «Гроза над Шелонью», «Ледовая дорога», «Партизанские рассказы» и другие.

В начале 50-х он закончил начатый еще перед войной роман «Каменный Пояс». Над трехтомной эпопеей автор работал почти пятнадцать лет, до тонкости изучив и описываемую эпоху, и характер каждого из Демидовых. Работал в архивах, изучал научную и документальную литературу.

Для художественного воссоздания истории взлета и падения Демидовых — основателей горных заводов Урала, требовалось много творческих сил писателя. И Е. А. Федоров считал эту трилогию главной книгой своей жизни.

За заслуги в области художественной литературы в 1947 и 1957 годах награжден орденами Трудового Красного Знамени.

КАВЕРЗА

1

Государыня Екатерина Алексеевна во всем старалась показать свою неукротимую любовь к русским обычаям и нравам: посещала православную церковь, где усердно отбивала поклоны, умилялась русскими народными песнями, и даже ходила молва, что царица-матушка строго соблюдает российские посты. Словом, во всем она стремилась походить на искони русскую женщину. Несомненно, все это было для внутреннего государственного употребления.

Одновременно с этим государыня прилагала немало усилий, чтобы походить на западноевропейскую монархиню, весьма просвещенную дочь своего времени, которой нисколько не чужды даже тонкие философские вопросы. Ее величество в минуты отдыха от обременительных дел писала ученые трактаты и находилась в переписке с просвещеннейшим философом-энциклопедистом Вольтером. Наряду с воздаянием внимания русскому государыня усиленно подражала придворным обычаям иноземных государей, особенно французскому, — по примеру Версальского в Царском Селе отстроила замысловатый дворец с роскошным парком, ввела в дворцовый обиход ошеломляющие наряды и пышную свиту. На придворных обедах даже блюда подавались европейские. Поэтому понятно, почему одна пустяковая мелочь беспокоила государыню. Русские послы, побывавшие в немецких странах, много рассказывали о диковинном деликатесе, без которого не обходится ни один придворный банкет. Деликатес этот — были неприятные с виду, но весьма прохладительные устрицы, именуемые в этих странах мушелями. В тонкостях этого изысканного блюда было под силу разобраться только особам знатного происхождения, посему простой-де народ, не понимая вкуса, не обожает сей божественной пищи.

Екатерина Алексеевна изъявила неудержимое желание выращивать подобных мушелей в своих отечественных палестинах. «Россия — обширнее и богаче западных царств, — резонно рассуждала государыня, — так почему же не водиться мушелю в наших водах?»

Не откладывая надолго сего дела, государыня соизволила срочно вызвать архангельского губернатора генерал-майора Головцына.

Грузный и пребывающий в преклонных годах вельможа, получив эстафету о срочном вызове его в Санкт-Петербург, сильно перепугался. Предполагая придворные козни и другие злосчастия, он с тяжелым сердцем тронулся в дальнюю дорогу.

После многих дней странствования по топким северным проселкам, сопровождаемый полицейскими чиновниками, губернатор прибыл, наконец, в столицу и, вопреки его страхам, был отменно принят государыней. Она вышла в утреннем кружевном платье, милостиво допустила к ручке и даже улыбнулась.

— Приятно видеть ваше рвение, — ласково обратилась она к нему. — Лыщу себя надеждой, что поручение наше будет исполнено отменно...

Архангельский губернатор ждал всего, но тут никак не мог он поверить своим ушам, когда государыня всемилостивейше рассказала ему удивительный прожект. По этому прожекту повелевалось генерал-майору Головцыну, не мед-

ля ни минуты, возвратиться в Архангельск и там, через сведущих людей, отыскать на приморских берегах устричные места. Отыскав эти места, предлагалось губернатору озаботиться выращиванием устриц, а по достижении ими должной упитанности, заняться их ловлей и доставкой живыми к высочайшему ее императорского величества столу.

Губернатор был весьма озадачен небывалым поручением, но слова своей государыни почел за неоспоримый закон. Не отдыхая после утомительного пути, он пустился в обратное странствование в Архангельск. С дороги он разослал гонцов отыскать людей, понимающих толк в разведении и ловле мушелей.

2

После немалых хлопот сведущие люди были найдены. Им были даны огромные подъемные, положены приличествующие оклады, и они со строгим губернаторским приказом отправились в прибрежные места отыскивать устричные лагуны.

Старанием и умением расторопных людей устрицы были найдены в достаточном количестве и весьма годные к еде в Кемском заливе и Мезенской губе.

В один из ясных солнечных дней в губу согнали со всего побережья рыбарей-поморов и заставили их ловить поганую тварь, которую не только человек, но и псы отказались есть.

Многое было непонятно рыбалям-поморам.

— Ваша милость, — говорил старшой помор, — что сия мерзкая тварь поганит море, давно нам то ведомо, но и то учтите, судари, этой мерзкой твари тут пропасть и всю ее не переловишь!

Еще более были удивлены поморы, когда устриц бережно пересадили в бочоночки и уложили на возы. Эту кладь беломорские раскольники должны были везти на своих лошадях за многие сотни верст в далекий Санкт-Петербург.

Обрадованный удачным ловом, губернатор Головцын решил первую партию живых устриц доставить в столицу лично. Немедленно была снаряжена почтовая карета, со всей осторожностью уложена драгоценная поклажа, и вельможа в сопровождении преданного человека, сержанта Загоскина, тронулся в путь.

Не смыкая глаз, день и ночь мчались в бешеной скачке генерал-майор и его верный личарда-сержант с небывалым подарком к государыне. Не один десяток добрых коней пал в упряжке, немало было сворочено скул ямским старостам усердием сержанта, но в конце концов ценный груз добрался до Санкт-Петербурга.

3

Дабы дать отдышаться устрицам и придать им свежесть и приличествующий моменту достойный вид, губернатор решил остановиться на подворье Александро-Невской лавры. Никого не оповещая о своем приезде, он думал не мешкая заняться этим ответственным делом, но монах-эконом был настолько любезен и так настойчиво звал генерал-майора к столу отведать после дороги

снеди и подкрепить свои силы наливками, что губернатор не устоял перед соблазном.

За столом любопытный монастырский эконоом не преминул узнать, по каким делам его превосходительство изволили прибыть в Санкт-Петербург. Не желая открывать всю суть дела, господин Головцын дал понять монаху, что они везут по личному повелению матушки-государыни к ее столу редкостную снедь и при этом живую.

Долго ломал голову хлебосольный эконоом, что за снедь, и притом живую, везет губернатор к императорскому двору.

Между тем генерал-майор, изрядно огрузнев от обильного монашеского обеда, не утерпел и по обычаю решил соснуть самую малость. Сержант же Загоскин, дорвавшийся до монастырских настоек, не устоял перед соблазном и, недолго размышляя, осушил не одну посудину. Охмелев от обильного возлияния, он махнул рукой на охрану драгоценной клади и тут же, в трапезной, завалился на лавку и богатырски захрапел. Монахам только это и надо было. Таинственность, с какой вели себя гости, и намеки их на царское поручение, распалили любопытство не только эконома, но и всей монашествующей братии.

Эконоом, сопровождаемый служкой, пробрался в кладовушку, где находился царский подарок. С замиранием сердца монах приподнял крышку кадушки и заглянул внутрь.

«Должно быть, диковинная белорыбица или сельдь беломорская!» — подумал он и вдруг с ужасом отшатнулся — Свят, свят господь! Отколь сия нечисть? Кто смел преподнести такое державной государыне российской?..

В кадушке копошились премерзкие твари. Зрелище было столь отвратительно, что эконоом поторопился прикрыть кадушку.

И тут страшная догадка осенила монаха.

Генерал-майор и сопровождающий его сержант, не в укор им будь помышлено, при случае не прочь были приложиться к дорожным сулеям с увеселительной влагой.

«А что если в ту минуту, когда поспешествующие с царским подарком гонцы утешали хмельным зельем свое чрево или отдыхали, лукавый враг рода человеческого да содеял неслыханное злодеяние и подменил рыб господних — белорыбицу или беломорскую сельдь — омерзительными тварями?» — со страхом подумал эконоом. От этой догадки его прошиб обильный пот.

Догадка меж тем углублялась:

«А что ежели вскроют бадейку, непременно подумают, что зло сие учинено не злодеями, а монахами столь досточтимого монастыря?» — В голове монаха помутилось от такой мысли.

Как ошпаренный он выскочил из кладовушки. Созвав доверенных монахов, эконоом, бледный и перепуганный, воскликнул:

— Братия, приключилась напасть!

Он торопливо рассказал о виденном.

Время шло быстро: вот-вот губернатор после трапезы очухается или сержант придет в себя да поглядит в бадейку, — пой тогда отходную! Поздно будет!

Братия решила, не медля ни минуты, гнусное дело злоумышленников изменить к лучшему.

Монахи быстро и проворно занялись исполнением замысла...

Дело сладили мастерски, — никто не заметил бы подмены. Монахи перевели дух. Эконом, взирая на образ Спаса, истово перекрестился:

— Слава тебе осподи, пронесло беду!

Однако не тут-то было! Получилось совершенно неожиданное и... большой конфуз.

Губернатор очнулся от послеобеденного сна и первым делом решил взглянуть на своих питомцев. Он поднял крышку бадейки и обмер. Сколь много верст скакал в столицу, оберегая дорогих сердцу устриц, и вдруг...

В бадейке вместо них колебалась вода, а в ней мирно плавали волховские сиги.

— Чревоугодники! — вспылил генерал-майор. — Сладкоежки! В Сибирь закатаю за такое дело! Где добро царское?

— Ох, святые угодники, — переполошился эконом. — Выносите из лихой беды! Знать, не та рыба была!

Монах кинулся на губернаторский крик в кладовушку. Не теряя присутствия духа, он воздел кверху руки и очи и воскликнул:

— О господи, дивны дела твои! Столь недостойные рабы твои призваны зреть необычное чудо! Смотрите, праведные, чудесное превращение...

— Ну, это баловство оставьте, отец эконом, при себе! Кайтесь, плуты, пожрали устриц? — без всяких околичностей пригрозил генерал-майор.

— Не видели, батюшка.

— Упеку! — орал губернатор. — Слыханное ли дело — на добро государыни презренные монахи подняли руку!

Дело принимало весьма скорбный оборот.

— Батюшка! — взмолился монах. — Не вели казнить, выслушай!

И эконом по чистоте душевной рассказал свою догадку: «Царскую снедь в дороге подменили на мерзкую тварь воровские люди».

Губернатора потрясла эта весть.

— Дурни, хошь и отцы духовные! Ведомо ли вам, что устрицы — тварь хоть мерзкая на вид, но весьма полезительная, и везли ее к царскому столу. Где они? Куда подевали? — кричал губернатор.

Тут от криков и переполоха очухался и сержант Загоскин. Он вскочил и с палашом бросился на монахов.

— Порублю, окаянные! Из-под земли достаньте устрецов!

— Батюшка, — упал на колени монах, — все живы и целехоньки! В монастырскую сажалку выпустили.

После доброй перебранки на берег монастырской сажалки согнали десяток дебелих откормленных монахов и заставили их ловить устриц. Скинув портки и засучив по грудь рясы, иноки топтались в зеленой воде сажалки и решетками ловили неприятную тварь. Они были скользкие, увертливые, и порастерялись, окаянные, в тине и осоке. С хлопотливых иноков от усердия катился обильный пот.

Однако, под грозными взглядами губернатора и сержанта, они выловили устриц. Не досчитались только трех: то ли толстопятые монахи раздавили их, то ли они сгибли в иле?

— Сколь пренеприятная каверза вышла! — возмущался господин генерал-майор. Опасаясь новых непредвиденных неприятностей, по его приказу устриц водворили на место, и он поспешно повез их ко двору.

4

В тот же день, привезенные со столь большими трудностями и каверзой, устрицы поданы были с приличествующими приправами к царскому столу.

Екатерина отведала их, осталась весьма довольна и тут же сердечно поблагодарила генерал-майора за отменно выполненное поручение...

Полгода спустя губернатор Головцын был весьма удивлен и до слез умилен, когда получил высочайший указ о награждении его за усердие орденом.

Еще более были удивлены поморы, узнав, что за доставку непривлекательной погани генерал-майор пожалован государыней наградой.

Яков Терентьевич Вохменцев (1913 – 1979)



Я.Т. Вохменцев родился 16 января 1913 года в деревне Вохменка Юргамышского района Курганской области в крестьянской семье. С детских лет увлекался чтением, любимыми писателями были Некрасов и Горький. Под влиянием их творчества в 17 лет отправился в путешествие по Руси. Исходил Урал, Поволжье, Центральную Россию, Кавказ. В 1930-е годы работал вздымищиком леспромхоза, землекопом в геологоразведке, слесарем кирпичного завода, литсотрудником газет «Наш трактор» (г. Челябинск) и «Челябинский рабочий», литературным консультантом Челябинской писательской организации. Первые публикации относятся к 1933 году. В 1938-1940 годах служил в Советской Армии (Монголия). Рядовым солдатом, младшим командиром и военным газетчиком прошёл он две войны: советско-финляндскую и Великую Отечественную – участвовал в боях на Халкин-Голе и Волховском фронте. Был ранен.

Перу Якова Вохменцева принадлежит более десятка поэтических книг: «Степная песня», «Положа руку на сердце», «Учёный кот» (басни), «Не ради красного словца», «Дело не в возрасте», «Про нас» (книга для детей), «Разговор с друзьями», «Слышу зов земли», «Живёт на свете человек», «Третья зрелость», «Застенчивая профессия».

Творчество Якова Терентьевича – очень многогранно. Он работал в самых разных жанрах – лирическое стихотворение, стихотворный фельетон, басня, в последние годы жизни даже пробовал себя в драматургии. Он был великолепен

ным мастером дружеского шаржа, блестящего экспромта. Основными темами его творчества являются Родина и человек на земле, русская природа и крестьянский труд.

В Союзе писателей СССР Яков Терентьевич состоял с 1958 года. А с 1965 года поэт возглавлял Курганскую писательскую организацию. Он много сделал для роста её рядов, для создания атмосферы творческого взаимопонимания, для воспитания молодых дарований. В память о первом председателе Курганской областной писательской организации Якове Терентьевиче Вохменцеве на доме № 111 по улице Гоголя, в котором жил писатель, установлена мемориальная доска.

В РОДНОМ КРАЮ

Она росла в моих скитаниях,
Простая истина одна:
Мне всех иных земель желаннее
Моя родная сторона.

Коль за Уралом — значит Азия:
Уже Сибирь и Казахстан.
Но все твое голубоглазие
Пришло от северных славян.

Сюда твой пращур не напрасно,
С ружьем иль только с топором,
В лаптях, веревкой подпоясанный,
Шагал вослед за Ермаком.

Пусть подвиг предков вечно славится
И будет сладок отчий дым.
В родном краю и мертвым нравится,
А нам тем более — живым!

ЗАСУХА

Трещины — кулак засунуть можно,
Черт их побери.
Сколько хлеба зноем уничтожено?
Солнце, не дури!

Зря соришь лучами, в самом деле
Спрячь их до зимы.
Здесь уж, как в Египте, побурели
Плечи и холмы.

Лишь татарнику да злой крапиве
Не вредит твой луч.
Почему в таком большом прорыве
Производство туч?

Пятерней Илья-пророк от скуки
Чешет в бороде.
Все леса простерли к небу руки —
Молят о дожде.

НАЧАЛО ВЕСНЫ

Она началась удивительно просто —
С ветвей, словно белка, сорвался комочек,
Робкая капля пошла по бересте,
Да там и застыла горошиной к ночи.

Поутру блеснула и вниз покатилась,
Под солнцем несильным ожив на припеке,
Была в этой капле весенняя сила,
Которая с грохотом гонит потоки.

ПЕСЕНКА ПРО МАРИНУ

Девочка прилежная —мамина отрада:
Две косички русые, блеск веселых глаз.
Ты вчера, Марина, вышла из детсада,
А сегодня — школьница, ходишь в первый
класс.

Как проснешься утром, сразу книжку в руки,
И — до самой ночи.
А встаешь чуть свет.
Только начала ты грызть гранит науки,
Двух зубов передних у тебя уж нет.

Будешь в старших классах шамкать на уроках.
Ах, не верь, Марина!

Вырастут опять.

Научись беречь их: жизнь еще жестока,
А беззубых, знаешь,
легче обижать.

РЕВНОСТЬ

Ревновала Фекла мужа Епифана,
Так как по натуре мнительной была.
Если он с работы возвращался рано,
Значит, на свиданье краля не пришла.

А случится мужу задержаться где-то,
Тут суду все ясно и вопросов нет:
В комнате летают разные предметы
И опустошается скромный их буфет.

Фекла супостатку Машкой называет,
Кастерит заочно с каждым днем сильней.
Кто она, какая — Епифан не знает,
Не видал ни разу, не встречался с ней.

Фекла любопытство в нем расшевелила —
Так могло случиться и с любым из нас:
Тянет Епифана дьявольская сила
На Марию эту посмотреть хоть раз.

Он предлог придумал и пришел к ней на дом.
Выплыла навстречу, юбками шурша,
Улыбнулась ласково, опалила взглядом.
Епифан замешкался. Видит—хороша.

Так и познакомились. Обсудили новости.
Затянулась встреча их чуть не дотемна.
Ведь была та Маша-то, коль сказать по совести,
Очень обходительна и весьма умна.

Епифану нравятся краски повседневности —
Стали ночи звезднее, ну а дни — светлей.
И вполне законными стали сцены ревности,
Ибо почва твердая завелась под ней.



Сергей Александрович Васильев (1911-1975)

С.А. Васильев родился в городе Кургане 17 июля 1911 г. Здесь окончил семилетнюю школу. К этому же времени относятся и его первые стихотворные опыты, поддержанные «добрым и зорким человеком», учителем русского языка А. Н. Шаровым.

В 1927 г. Васильев переезжает к сестре в Москву, где вскоре прошел по конкурсу на актерское отделение Центрального Дома искусств имени Поленова. Обучался актерскому мастерству, работал санитаром, сторожем, истопником в больнице, а позднее рабочим откатчиком на ситценабивной фабрике. В 1931 г. был принят в драматический ансамбль одной из московских трупп мюзик-холла.

В начале 30-х гг. первые стихи Сергея Васильева появились в ряде московских газет и журналов. Первая его стихотворная книга «Возраст» вышла в 1933 году. Признание пришло после опубликования поэм «Голубь моего детства» и «Анна Денисовна». Он пробовал себя в разных жанрах: стихотворные репортажи, лирика, гражданские стихи, поэмы, литературные пародии, фельетоны, эпиграммы. Его перу принадлежит четырнадцать поэм. Он был замечательным публицистом и литературным критиком.

В годы Великой Отечественной войны С. А. Васильев в качестве военного корреспондента воевал в Подмоскowie, участвовал в освобождении Украины и Крыма, прошел через Польшу и Германию. Фронтные впечатления позднее отразились в трилогии «Портрет партизана» и поэме «Достоинство», посвященной подвигу генерала Д. М. Карбышева (в 1973 году за эту поэму Сергею Васильеву была присуждена Государственная премия РСФСР имени Горького). В содружестве с композиторами А. Новиковым, И. Дунаевским, В. Мурадели, М. Блантером, З. Компанейцем, И. Листовым он создал ряд популярных советских песен.

После смерти Сергея Александровича в 1975 г., в память о знаменитом земляке, улица Въезжая переименована в улицу Сергея Васильева, а два года спустя в курганской школе № 29 открыт музей, посвященный его поэтическому творчеству.

ПРЯМЫЕ УЛИЦЫ КУРГАНА

Сестре Марии

Кургана улицы прямые!
Увидев вновь вас, понял я
с особой ясностью впервые,
что это Родина моя.
Все тот же дом, последний с края,
все та же верба сторожит.
Здесь дым младенчества витает

и прах родительский лежит.
Босыми шлепая ногами
по теплой пыли городской,
я здесь пронес сиротства камень
и холодок любви мирской.
Но я ничуть не укоряю
ни мрак нужды, ни холод зим,—
я все теперь благословляю
и все считаю дорогим.
Здесь знаю я любые вышки,
любой забор, любой квартал,
здесь я читал еще не книжки,
а только вывески читал.
Я здесь могу найти вслепую
любое прясло с деревцом,
любую лесенку, любую
калитку с кованым кольцом.
Здесь дождевой порою вешней
на толстых сучьях тополей
крепил я легкие скворешни,
гонял со свистом голубей.
Да, я люблю любовью давней,
без всякой ложной похвальбы,
и эти створчатые ставни,
и телеграфные столбы,
и крыш убранство жестяное,
и звон бубенчиков в ночи,
и в небо ввинченный ночное
бурав пожарной каланчи.
Прямые улицы Кургана!
Я вновь и вновь на вас смотрю
и говорю вам без обмана,
как сестрам брат, вам говорю:
хотя внезапная разлука
и разделила вас со мной,
мне не забыть родного звука,
метели посвист ледяной.
И если есть во мне хоть малость
того, что следует беречь,
так это ваша власть сказалась
и отложилась ваша речь.
И если ярость азиата
во мне, как брага, разлита,
так это ваша виновата
сквозная даль и прямота.

Я НИКОГДА НЕ ЗНАЛ И НЕ ИСКАЛ ПОКОЯ

Я никогда не знал и не искал покоя.
Наоборот,
наоборот —
своею жесткою
безжалостной рукою
бросал себя в водоворот.
И плыл,
не просто примечая по дороге
все то, что издали видно,
а подгробал к себе
кувшинки-недотроги
и на середке
мерил
дно.

ТЕРПЕНИЕ

Ты говоришь, что все трудней писать,
что не дается нужная строка.
Вот, кажется, она уже близка,
ан вырвалась, коварная, опять
и дразнится, маня издалека.

А ты терпи, коварству вопреки,
держи на взводе хитрый карандаш,
иначе потеряешь власть руки
и дорогое золото строки
другому, терпеливому, отдашь.

БЕЛАЯ БЕРЕЗА

Я помню, ранило березу
осколком бомбы на заре.
Студеный сок бежал, как слезы,
по изувеченной коре.

За лесом пушки грохотали,
клубился дым пороховой,
Но мы столицу отстояли,
спасли березу под Москвой.

И рано-раненько весною
береза белая опять
Оделась новою листвою
и стала землю украшать.

И с той поры на все угрозы
мы неизменно говорим:
«Родную русскую березу
в обиду больше не дадим!»

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

– Здравствуй, Толстый!
– Здравствуй, Тонкий!
Что-то ты, брат, исхудал!
– Но зато как пятитонка
ты, сказать по правде, стал!
– Как делишки?
– Критикую.
И втихую и вслепую мажу, гажу, протестую, обхожусь без сладких слов!
Ну, а ты как?
— Лакирую.
Услаждаю, угождаю,
ублажаю, лью елей
и поэтому не знаю никаких невзгод, ей-ей!
Я, окинув две фигуры взглядом,
с должной полнотой
сделал, так сказать, с натуры
вывод ясный и простой:
независимо от вида (худобы иль толщины)
оба данных индивида одинаково вредны.



**Алексей Михайлович Пляхин
(1918 – 2006)**

А.М. Пляхин родился 3 октября 1918 года в деревне Кабаково (Фрунзе) Лебяжьевского района Курганской области. Окончил девятилетнюю школу. Начиная учиться в Чащинском молочном техникуме, но закончить его помешала война, сначала финская, а затем – Великая Отечественная. В годы Великой Отечественной войны в качестве механика-водителя самоходного орудия дошел до берегов Эльбы, оставив на поверженном рейхстаге свой ав-

тограф. Эта страница военной биографии поэта позднее будет детально описана в поэме «Возле чужого счастья». Алексей Михайлович – кавалер ордена Славы III степени, Отечественной войны II степени, девяти медалей.

После войны работал редактором районной газеты в селе Белозерском, редактором местного радиовещания, художественным руководителем районного Дома культуры, заведующим районным отделом культуры, учителем в школе, литсотрудником и заместителем ответственного секретаря областной газеты «Советское Зауралье», собственным корреспондентом по Кетовскому и Юргамышскому районам, заместителем начальника областного отдела Союзпечати, корреспондентом областного радио. Был первым редактором «Курганского вестника» и с этой должности ушел на пенсию в 1978 г.

Алексей Михайлович заочно окончил Литературный институт им. Горького при Союзе писателей СССР. Свое первое стихотворение он опубликовал в 1941 году в армейской газете «Красный боец». После войны неоднократно печатался на страницах местных и центральных газет и журналов. Автор сборников стихов: «Зауралье мое», «На тополином берегу», «Перелесковый простор», «На войне и дома», «Сердцу близкое», «Незабываемое», «Верность», «Исповедь», «А в душе непокой...». Его стихи и поэмы – это раздумья о войне и судьбах фронтовиков; они полны любви к землякам и родной природе. Его произведениям свойственны интонационная четкость, разнообразие поэтических средств изображения. Через судьбы и характеры своих героев поэт ведет читателя к осмыслению того, ради чего на земле живет и трудится человек.

В Союзе писателей СССР состоял с 1979 года.

ДА, СОРОК ЛЕТ!..

Летят года, летят они так скоро,
Что рядом только вихри шелестят.
И вот уже Победе нашей — сорок,
А там, — рукой подать, и пятьдесят.

Да, сорок лет в большом подлунном мире
Бурлит, ликует мирных дней река,
Но кажется, те давние четыре
Длиннее были этих сорока.

Длинней. И ничего тут не попишешь,
Сквозь толщу лет, состаривших солдат,
Все так же с лютой явственностью слышишь
Безумный рев бессонных канонад.

И гул стальной, и жуткий свист хвостатый,
Заполонивший наши небеса,
И не доживших до победной даты
Безусых одногодков голоса...

И в наших душах не унять тревогу,
Мы думаем — в десятый, в сотый раз:
Уходим мы, уходим понемногу,
А что на свете будет после нас!

К вам голос наш, родные наши дети,
Родные внуки, правнуки! Вам — жить.
И всем, что есть прекрасного на свете,
Упрямо, неотступно дорожить!

Пусть День Победы радостным сияньем
Сияет, не давая места мгле,
И вечным будет пусть на поминаньем
О долге человека на земле!

ПУШКИНСКИЙ ТОМИК

Г.Г. Логунову

В блиндаже, вблизи передовой,
Пред лампадкой гильзовой настенной
Бережно из сумки полевой
Достаю я томик драгоценный.

В нем — родной, знакомый с детских лет
Мальчика курчавого портрет
И стихи, знакомые до боли...
Помнится над Вислою рассвет,
Холодок по коже перед боем.

Ты стоишь у танковой брони,
Под пилоткой — белый круг повязки,
Говоря: «В знак дружбы сохрани», —
Подаешь мне пушкинские сказки.

Как хранил я томик, как берег!
Смело шел в сражение любое,
Словно знал, что враг меня не мог
Ни убить, ни вывести из боя,

Потому что был со мною — он,
Всем своим врагам назло живущий,
Будто я от смерти заслонен
Был его бессмертьем всемогущим.

Он ли был, поэт, тому виной, —
Я не знаю. И не в этом дело.
Важен факт: покончил я с войной,
А она со мною — не сумела!

ГДЕ Б Я НИ БЫЛ

Моя родина — ты, Зауралье!
Где, в каком бы я ни был краю,
Но с твоей неоглядною далью
Не разрознить мне душу свою.

Мне по крови близка вся Россия,
Но не где-то, а именно тут
Я увидел и небо впервые,
И как птицы по небу плывут.

Здесь я ждал своей встречи с любовью,
Что меня не спешила найти,
И отсюда с тоскою и болью
Начинал фронтовые пути.

Утром зорьку встречать ли я стану,
Тальниковый ли локон треплю,
Возле нивы ль стою, — постоянно
На одной себя мысли ловлю:

Вечно б чувствовать свежесть и ласку
Этих нив, этой дали степной,
Перелесков зеленую сказку
И бездонную высь надо мной!

ВЕСНА

Еще спокойствием объята
Сады, пуховые с утра,
Тобол не сбрасывает латы
Из ледяного серебра.

И почки спят на ветках сонных,
Но чуток сон их. А вдали
На полевых пологих склонах
Проталин полосы легли.

И к оживающему логу,
Показывая власть свою,
Весна веселую дорогу
Дает звенящему ручью.

И вместо снега, вместо стужи
На тротуаре городском,
Перевернувшись, в первой луже
Висит, покачиваясь, дом.



Алексей Никитович Еранцев (1936 – 1972)

А.Н. Еранцев 28 февраля 1936 года в селе Павловском Алтайского края в крестьянской семье. Детские и юношеские годы прошли в селе Жидки Петуховского района Курганской области. В 1961 году окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал литературным сотрудником газет «Молодой ленинец» и «Советское Зауралье», редактором Южно-Уральского книжного издательства.

Алексей Еранцев занимался живописью. Стихи Алексея Еранцева публиковались на страницах районных, областных газет, в журналах «Смена», «Октябрь», «Наш современник», «Сельская молодежь», «Урал» и других. Поэт сразу нашел свой путь, обрел свой поэтический язык, выстроил свой поэтический мир. Автор книг стихов: «Вступление», «Ночные поезда», «Кумачовые журавли», «Глубокие травы», «Лирика», «Талица» и книги прозы «Разомкнутые берега». Поэтический стиль Алексея Еранцева богат и разнообразен, но можно выделить три кита, на которых он стоит: метафора, композиция, образ-символ. Лейтмотив поэзии Еранцева – добрый человек на доброй земле.

У Алексея Еранцева был прочный авторитет у себя на родине, его начинали замечать в Москве и последний сборник его стихов «Талица» вышел в 1973 году в престижном столичном издательстве «Советский писатель». Проницательный Вадим Кожин в 1971 году опубликовал в «Комсомольской правде» статью «Климат поэзии», где пророчествовал, что на поэтическую ситуацию

окажут заметное влияние поэты, выросшие далеко от Москвы и пока еще не знакомые широкому читателю: в их числе был назван Алексей Еранцев из Кургана. Не случайно произведения курганского поэта Алексея Никитовича Еранцева включены Е. Евтушенко в антологию русской поэзии XX века.

В Союзе писателей СССР состоял с 1966 года.

ТРАВИНКА

Изматываясь, радуясь, колдуя,
Ищу строку я, как звезду в траве,
И все боюсь: а вдруг возьму чужую,
Возьму — и попадусь на воровстве.
По первобытным скалам рудознатцы
Идут, колени обдирая в кровь,
Алмазы поднимают, не боятся,
Что их случайно примут за воров;
У них одно, отточенное в мысли:
Сломить усталость, выжить, донести.
Над ними звезды острые повисли
Как отраженье замерших в горсти.
И, раздвигая трещины гранита,
Земную свежесть дарит им родник,
И ограждает чистота открытий
От слов поганных и от глаз дурных.
И мне бы так, чтоб каждый шаг в новинку.
Среди болот, ущелий и степей
Искать звезду — и вдруг открыть травинку...
Кто назовет травинку не моей?

ЗВЕЗДЫ

До сих пор в глуши поверье бродит
Грустное, как прошлая беда:
Если человек с земли уходит,
В небе рассыпается звезда.
Мы совсем не верим в небыль эту.
Не хотим, изведав мир и бой,
У других хотя б крупицу света
Отнимать и уносить с собой.
А когда теряем очень близких,
Тех, кто свет и радость людям нес,
В небо поднимаютobeliski
Пятилучья негасимых звезд.

ОШИБКА

Сапер ошибается только раз.
Пилот ошибается только раз.
Взрывник ошибается только раз.
Высотник...
И горе брызнет из глаз,
И скажут: «Недоглядели».
Поэт ошибается тысячу раз,
И каждый раз — смертельно.
Солжешь — и где-то правда умрет,
Одна, на щербатой лавке.
И тихая шавка из-под ворот
По этому поводу тьякнет.
Спасуешь — и, страхом насквозь продут,
Дрогнет солдат в солдате,
И пули в потный затылок войдут,
Посланные проклятьем.
Дружбе изменишь — окрепнет враг.
Слову — взойдут пустомели...
Сапер ошибается только раз.
Пилот ошибается только раз.
Взрывник ошибается только раз.
Поэт ошибается тысячу раз
И каждый раз — смертельно.

ПОДСНЕЖНИК

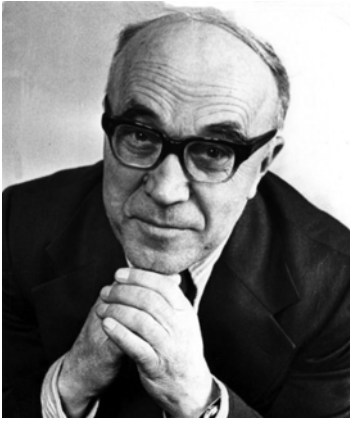
На тропах нехоженных вешних,
На тайной поляне лесной
Пьет желтым бокалом подснежник
Весенний медовый настой.
В нем дождика светлая ноша,
В нем шепот травы-муравы.
И солнцем на тоненькой ножке
Считают его муравьи.

КУРГАН

От избяного до чудесного
Идти сквозь камень и стекло.
Твое степное имя срезали —
Полыни в рану натекло.
А по асфальтным чернобуркам

Туда, в лазурные века,
Увозит выкованный буйвол
Живого, теплого быка.
В стене срастаются прожилки,
И воскресающий гранит
Траву и запах ежевики
В морщинах каменных хранит.
И ты ко мне приходишь гостем
Из тех, сияющих начал,
Где древнерусские колосья
В борта бетонные стучат.
Из той земли, курганной, древней,
С обломком бронзовой зари,
Растут бессмертные деревья, —
Гнездятся в кронах фонари.

Так больно, хоть зубами ляскай,
Так горько, хоть в сугроб уткнись!
Живут во мне слова и краски,
Извечный крест — перо и кисть.
Уйду к мольберту — буквы скачут
И разлетаются с листа.
Уйду к словам, а краски плачут,
Стекая с мокрого холста
Свяжу их сердцем — больше нечем.
Живу, не зная, что родней,
Как между двух любимых женщин,
Как между двух больших огней.
Несу тот крест,
По тайной сути
Как бы сколоченный из плах.
Как тень качаются рисунки
На белых мраморных полях.



Василий Иванович Еловских

В.И. Еловских родился 25 января 1919 года в рабочем поселке Шайтанка Свердловской области в семье потомственных рабочих-металлургов. Отец его, Иван Семёнович, в годы первой мировой войны стал полным Георгиевским кавалером (четыре Георгиевских креста). А в годы Советской власти был награждён орденами Ленина, «Знака почёта», стал Почётным Гражданином города Первоуральска. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. И сам Василий Иванович Еловских трудовую деятельность начинал токарем на Первоуральском сталетрубном заводе.

Первая проба пера состоялась в середине тридцатых годов прошлого века. Писал заметки в газеты. В семнадцатилетнем возрасте опубликовал первый рассказ «Ошибка» в журнале «Уральский современник». Как активного работника в 1937 году его взяли на работу в редакцию первоуральской газеты «Под знаменем Ленина». С 1939 по 1947 годы находился на службе в Вооружённых Силах (красноармеец, политрук, начальник гарнизона, командир взвода, редактор дивизионной газеты). Воевал на Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Войну закончил в Прибалтике. Демобилизовался в 1947 году с двенадцатью воинскими наградами. Естественно, что военные дороги, впечатления нашли своё отражение в последующем творчестве писателя.

После войны работал редактором «Последних известий» на Тюменском радио, редактором Ярковской районной газеты. После окончания Высшей партийной школы был председателем радиокомитета, директором книжного издательства. В Кургане – с 1964 года. Работал редактором литературно-музыкальных передач на областном радио. В 1965 году принял самое активное участие в создании Курганской писательской организации. Здесь же стал работать литературным консультантом, уполномоченным по защите авторских прав.

Первый рассказ В. Еловских опубликовал в 1940 году. Автор более 50 книг прозы. Широко известны его книги, изданные в Москве, Тюмени, Свердловске, Челябинске: «Рядовой Воробьёв», «Первая рыбалка», «Четверо в дороге», «На Сибирском тракте», «Тепло земли», «В родных местах», «Дом с мансардой», «Гудки зовущие».

В Союзе писателей СССР состоит с 1964 года.

СОЛДАТ И МАЛЬЧИК

1

Он лежал на травянистом пологом берегу речушки, боясь пошевелиться, тогда боль в раненом плече становилась нестерпимой, чувствуя, что слабеет с каждой минутой; кружило голову, шумело в ушах, и все время хотелось пить. Мокрая гимнастерка прилипла к телу. Он часто с присвистом дышал, ему не хватало воздуха.

Еще вчера утром зарядил дождь, сыпал весь день, всю ночь, все сегодняшнее утро, частый, бесшумный и мелкий как пыль. Иван и раньше не терпел таких дождей, они нагнетали тоску, портили ему настроение. А сейчас дождь и неподвижные, будто уснувшие в тихой мокроте сосны, ели, кустарники были просто невыносимы; казалось Ивану, что он весь опутывается водяной сеткой, она мягка, неслышна, но страшна своей бесконечностью, и нестерпимо хотелось, чтобы все это кончилось, чтобы проглянуло солнце, подул ветер, зашумели сосны, застучали дятлы, запели птицы или уж пошел бы настоящий дождь, крупный и шумный. От кого-то он слышал, что герои произведений Достоевского любили такую погоду, она ослабляла их душевные страдания. Ивану это непонятно. У него было как раз наоборот.

Он второй день в лесу. Вчера очень хотелось есть; он пожевал мелкой и какой-то кисловатой малины, которая попалась по пути, съел несколько совсем уж невкусных сыроежек. Возле ручья в траве увидел лягушку и вспомнил, как красноармеец из их взвода, на гражданке работавший учителем, рассказывал, будто французы всю уплетают задние ноги (почему только задние?) каких-то зеленых лягушек, считая это лакомством. Лягушку можно поджарить на костре под елкой. Он подумал об этом и сплюнул от омерзения... Сегодня есть уже не хотелось. Хотелось пить. И он долго, жадно пил из тихой речушки, громко причмокивая, а потом лежал на траве, то и дело погружаясь в глубокий сон.

Позавчера вечером был бой, первый бой, в котором участвовал красноармеец срочной службы Иван Киселев. Впрочем, какая уж тут срочная, война все перемешала. Иван впервые видел в туманной сини вечера слегка согнутые, какие-то крадущиеся фигуры вражеских солдат и не мог понять, почему они кажутся такими черными. Он стрелял в них. А потом был страшный удар, землю будто разорвало на части, и Киселев полетел куда-то в холодную глубину далекого неба, в бесконечный мрак, и потерял сознание. Ночью пришел в себя. Странно тихо. И совсем темно. Невыносимая ноющая боль в плече; у плеча, на груди, на животе тепло и липко,— кровь. Он лежал один живой среди множества убитых. Впрочем, Иван не знает, множества ли; когда он, привстав, покачиваясь и постанывая, зашагал в глубину леса, ему попали под ноги двое убитых красноармейцев. И немцы, и наши были уже где-то далеко отсюда <...>.

Он пролежал на мокрой траве весь остаток дня, тупо глядя на пухлое мутное небо, пролежал весь вечер, всю ночь, до утра. Дождь постепенно утих, и стало почему-то холоднее. Ивану казалось, что в лесу душно, как в обкуренной конуре, он быстро, жадно хватал сырой воздух раскрытым ртом. Попытался встать, опираясь о сосенку; голову обкружило, все поплыло куда-то вправо — сосны, речушки, трава, небо, и Киселев рухнул на землю. Опять лежал, глядя на небо и макушки сосен. Надо полежать. Еще полежать. Но сколько же можно лежать? Какая слабость и тяжесть. Его мозг жил уже как бы отдельно от тела, тело, обмякшее, холодное, больше не подчинялось ему. Голова тяжелая. Покруживается.

Он подумал, что может скоро умереть, и удивился тому, что подумал об этом без страха. Потом мелькнула мысль, что умрет он не где-нибудь, а здесь вот, возле речушки, в лесу, вдали от людей, тело его растерзают звери и птицы,

и от этой мысли ему стало не по себе. Умрет — и некому, совсем некому будет вспоминать о нем: единственный его друг погиб в первые минуты того боя, а бывшие детдомовцы разъехались кто куда.

Не надо уверяться, что скоро умрешь. Если уверишься, считай, что наполовину умер, сама по себе мысль эта вносит в душу смертельный яд. И Киселев, наверное, в тот же день умер, если бы...

Впрочем, всему свое время. Давайте перенесемся пока в маленький поселок, до которого было километров пятнадцать.

2

Погреб глубокий, дно погреба неровное: одна половина ниже, другая выше. В той, которая ниже, была вязкая жижа. А на высокой половине лежала старая доска, узкая, мокрая и какая-то противно скользкая. Сережка и Петька сидели на доске, прижавшись друг к другу, подогнув босые ноги и опираясь о земляную стену, тоже мокрую и скользкую. Мерзли ноги, руки, лицо. Сидели и дивились: в погребе мокро, не застыло, а такая холодина, хуже, чем зимой. Сидеть неудобно, ни сядешь хорошо, ни ляжешь — то поясницу ломит, то ноги немеют.

Где-то далеко наверху глухо разрываются снаряды. Один раз разорвалось совсем рядом, и в погребе посыпалась земля.

Час назад за поселком начался бой, и Сережка с Петькой выскочили на улицу. Сережина мать приказала ребятам бежать в амбар и лезть в погреб, а сама зачем-то побежала к подружке. Сережка надел большой дырявый пиджак, оставшийся от отца, а Петьке дал свое пальтишко.

И вот они тут... Прошло, по-видимому, уже много часов, а Сережкиной матери все нет и нет. Больше им ждать некого. Петькина мать умерла еще до войны. Отцы — в армии.

Петька дрожал не то от холода, не то от страха и бормотал:

— А если бомба сюда падет? Он вцепился Сережке в руку. Сережка отодвинулся, протянул ногу и, коснувшись холодной, будто ледяной, жижи, испуганно дернулся.

Тьме и глухим взрывам, кажется, не было конца. Что-то тяжело ударило в крышку погреба. Петька испуганно захныкал. Потом стало тише, и мальчишки забылись в тревожном сне, поеживаясь, тесно прижимаясь друг к другу и к стенке. Когда Сережка, вздрогнув, проснулся, в щель крышки проникал слабый колеблющийся свет. Прошло еще сколько-то времени, колеблющийся свет постепенно сменился сильным и ровным; светлая полоса падала на лестницу, которая вела к крышке, на жижу и земляные стены. Было тихо. Сережка попытался откинуть крышку. Но она не подавалась. — Откройте! Никто не отозвался.

Тогда они, почти по-мужски кряхтя, стали толкать крышку вдвоем. Она приподнялась, но Петька устало опустил руки, и тяжелые доски ударили Сережку по голове.

Они все же вылезли наружу. Вылезли, и у обоих захолонуло сердце. За ночь сотворилось страшное: не стало дома, где жил Сережка, бани и ворот, на их месте лежали черные головешки, от которых кое-где поднимался дымок.

Среди головешек стояла нетронутой печь с трубой. Труба показалась почему-то слишком длинной. Вроде бы и не своя она, печь, а чья-то чужая, какая-то слишком грязная. А печурка с надбитым кирпичом своя. Еще весной Сережка, балуясь, отбил кусочек кирпича у печурки, и мать тогда сильно ругалась. Одна из каменных стен амбара разрушилась. Крышу и потолок истопили еще в прошлую зиму. И хорошо, а то в эту ночь ребятишкам пришлось бы плохо. Улицу будто подменили: дома сожжены, вместо кирпичного здания, в котором размещалась когда-то пекарня, стояла лишь одна стена. Уцелел маленький кривобокый тополь. Его листья поблескивали и трепыхались на ветру.

Возле тополя валялась кисть руки, обыкновенной человеческой руки, темная, почти черная под белым пухлым небом, с чуть согнутыми пальцами.

— Мама!—крикнул Сережка.— Мама!

Петька плакал и издавал какие-то странные звуки, будто захлебывался. Никто не отвечал им, на улице ни одного человека. А Сережка, глядя на пожарище, все кричал:

— Мама!<...>

Повернули в переулочек и услышали повелительный голос:

— Алло, мальшик, ити сюта!

На скамье возле уцелевшего деревянного домика сидели два немецких солдата в расстегнутых кителях, один длинноногий и длинноносый, другой толстый, широкомордый. Разные вроде бы и в то же время чем-то неуловимо похожи. Спины полусогнуты, точь-в-точь как у баб, когда они вечерами на завалинках отдыхают. В домике играли на аккордеоне что-то веселое.

—Ити сюта, мальшик!

Говорил длинноногий. Он распрямылся и смотрел насмешливо. Ребята испугались, насторожились, но шли. Поняли: нельзя не идти.

— Почему ходиль?— спросил немец, глядя на обоих.— Я спрашиваль.

Чужие страшные голоса, чужие, не русские лица, чужая, неприятная одежда.

— ...Мамы... нету,— пробормотал Петька.— Сгорело все...

— Ходиль не можно. Можно наказываль.

Солдат схватил Сережку за руку, подтянул к себе и стал щелкать по носу широким синеватым ногтем. Сережка вскрикнул, хотя не так уж больно было, рванулся, но левая рука немца держала его, как клещами. Отшвырнув Сережку, длинноносый схватил Петьку. При каждом щелчке Петька вздрагивал, всхлипывал, но покорно подставлял нос истязателю.

Длинноносый неторопливо и сердито делал свое дело, поджав губы. Толстый немец растянул губастый рот в неподвижной улыбке. Хоть и неподвижная улыбка, а довольная. Потом длинноносый махнул рукой: убирайтесь! Толстый немец что-то быстро протараторил на своем языке и бросил далеко на землю кусок хлеба. Кусок был с ладонь, твердый, как камень, и пах бензином.

Сережка съел половину куска. И еще больше захотел есть. Он не помнит дня, когда бы он не хотел есть; с утра, позавтракав, ждал обеда, без конца думал об обеде, пообедав чем бог пошлет, ждал, когда мать позовет на ужин.

Плохо было с продуктами — война. Петька вяло жевал хлеб. Проглотив последние крошки, сказал:

— По-полежать бы...

— Ты чего, заболел?

— Полежать бы...

Сережка потянул Петьку за рукав, но тот чего-то заупрямился, замычал и вдруг лег на траву возле сваленной изгороди. Сережка просил, ругался, но Петька не хотел вставать:

— Полежу.

Укрыв его пиджаком, благо солнце стало пригревать и самому можно было остаться в одной рубашке, — холодновато, но не шибко, Сережка сказал:

— Ладно, полежи, а я сбегаяю...

Он снова ходил по улице, искал мать, но улица была пуста. Головешки на месте их дома больше не дымили. Все в той же неловкой позе, в какой живой человек не сможет пробыть и пяти минут, лежала женщина. Светило холодноватое затуманенное солнце, оно было одинаково равнодушным ко всему и вчера, и сегодня.

Проходя мимо разрушенного дома, он услышал стоны. Зашел. На кровати лежала старуха, разбросав руки, волосы и платье покрыты слоем пыли.

— Не подходи! — крикнула она. — Я болею... Мать у тебя, видно, убили, — продолжала старуха безжалостно. — Ты беги в деревню Тепловку. Дотуда километров десять. Но... ничего. Там как-нибудь прокормишься.

3

В Тепловку они пришли на другой день. После того как Сережка поговорил с больной старухой, он еще раз два бегал к своему дому. Ночевали у тихой безлюдной дороги, возле березы, прижавшись друг к другу. Петьке всю ночь мерещились немцы, он дрожал, всхлипывал и выкрикивал что-то бессвязное. Утром Сережка долго искал грибы и ягоды, но не нашел. Он тащил за руку Петьку, тот едва двигался и все порывался лечь.

Деревня тоже была разрушена и сожжена. Среди куч пепла виднелись кое-где печи с нелепо вытянутыми трубами. Одна улочка домиков в десять возле опушки леса оставалась нетронутой. Ребята ткнулись в первый попавшийся дом. Старуха хозяйка, назвавшаяся теткой Нюрой, накормила их вареной картошкой и хлебом. У Сережки вспучило живот и появились рези. Петька съел две картофелины и лег на сундук. Старуха потрогала его лоб и сказала, что у Петьки жар, он болеет, а чем болеет, она не знает, и узнать не у кого.

Во сне Петька звал Сережку, кричал: «Отдай мой ботинок!» Под утро затих. И когда на рассвете тетка Нюра подошла к Петьке, он был совсем плох.

— Ну, что с тобой, сынуля?

— Немцев нету?

— Нету. Не бойся, нету.

Сережка тоже занемог, почувствовав вдруг, что в избе стало что-то очень уж жарко. Болела голова. Тетка Нюра уложила его на кровать сбоку от Петьки и не велела вставать.

Весь день стояла тишина, будто и войны не было, и немцев не было. Но в тишине этой чудилось и ребятишкам, и старухе что-то тревожное, зловещее. Изредка приходила маленькая женщина с добрыми глазами, шепталась на кухне с хозяйкой и неслышно уходила. Тетка Нюра все время чего-то боялась; половица скрипнет или на улице кто крикнет — вздрагивает, крестится, ходит по избе и шепчет непонятно что; скажет громко слово-два и опять шепчет. С ребятами разговаривает редко. А если спросят о чем, бормочет:

— Чего!..

Утром, вскочив с постели, Сережка пошел в лес. Он все еще болел. Но не было дров, и кто, кроме него, мог принести их? Тетка Нюра едва ходила, согнувшись коромыслом. Сыпал мелкий дождь, в лесу было сыро, туманно, скучно.

Через полчаса после его ухода громко, начальственно стукнула щеколда калитки. Тетка Нюра выглянула в окошко и затряслась, проговорив про себя: — Зачем это?..

В избу ввалились двое в мундирах ядовитого серо-зеленого цвета без погон, молодые, ростом под потолок. У одного на жирной красной щеке шрам, длинный и ровный, будто по линейке делали. У второго левый глаз закрыт черной лентой, а правый смотрел недоверчиво и зло.

В избе запахло спиртом и чесноком.

— Коммунистов не прячешь, бабка?— спросил человек со шрамом и весело ухмыльнулся.

Одноглазый подошел к Петьке.

— Ты чей? Как твоя фамилья? Бузин, слышь, какая у него фамилья? Кондратович.

— Еврейчик, как пить дать,— отозвался Бузин, и лицо его недобро оживилось.— Русский! Ишь ты! А морда?..

Бузин захохотал, оголяя длинные, узкие зубы, и оборвал смех:

— Где у тебя мать? Где, я спрашиваю?! А отец где? В армии?

Петька кивнул <...>.

Когда одноглазый увел тетку Нюру, Бузин приказал Петьке собираться, а сам сел за стол, открыл флягу и стал пить из нее. Пил медленно, помаленьку и все чего-то морщился.

Сыпал холодный дождь. Они вышли за околицу и миновали бедное, грустное деревенское кладбище с покосившимися крестами и столбиками.

Петька спросил: «Ты куда меня?..» — но Бузин повелительно махнул рукой. «Я не пойду. Я не могу». — «Иди, говорят!»

По скользкой грязной дороге трудно идти даже Бузину. А Петьке и вовсе. Он сел. Бузин пнул его в спину, раз, другой. Больно пнул. Он смотрел на Петьку совсем не так, как на тетку Нюру; на ту насмешливо-сердито, а на него с холодной ненавистью.

Грязь, дождь, унылые березки. Ступни у Петьки немели от холодной мокрой травы. Он вроде бы уже и не чувствовал ног, шел как на ходулях.

У окопа, протянувшегося по невысокому холму, Бузин остановился и командовал:

— Снимай пальто.

— За...зачем?— прошептал Петька.

— Снимай, говорят!

В глазах Бузина столько злобы, так колют эти глаза, что Петька мелко задрожал, сколько-то секунд помедлил, прижимая руки к телу, и стал снимать пальто. Отлетела пуговица. Петька поднял ее, очистил от грязи и положил в карман пальто.

Бузин стоял, расставив ноги, сунув руки в карманы брюк.

Петьку поташнивало, нестерпимо хотелось сесть. Бузин хочет сделать ему что-то плохое. Очень плохое. Надсмеяться, избить, убить! Да, хочет убить. Петька с самого начала отгонял от себя эти мысли, хотя они без конца долбили его мозг. Убить!! Нет, только не это! Нет, нет, нет!!! Он думает, что Петька еврей. А он русский. Мать говорила: «Мы — русские». А может быть, он еврей? А если еврей, то зачем его убивать? Хочет, чтобы Петька умер. Умер!!! А может, хочет избить? Избить — это хорошо. Петька фальшивил сам пред собой, сам себе врал, что не будет смерти, будто это вранье могло ему как-то помочь. Мать говорила: падают на колени и просят... Все эти мысли вместе с беглыми мыслями о том, что в лесу сыро и холодно, промелькнули в голове Петьки за какие-то секунды. Он не упал на колени, не просил. Он вдруг — что с ним стало?— крикнул, крикнул с силой, на какую только был способен:

— Чего тебе надо от меня?! Уходи от меня!! Уходи!!! — И плача схватил пальтишко.

Последнее, о чем он подумал, это: «От пули больно...»

Но больно не было. Был удар в голову, и Петька потерял сознание.

Бузин толкнул мертвое тело в окоп, кое-как забросал землей, поддевая ее сапогом и палкой с бруствера, и, подняв пальтишко, отплевываясь и пыхтя, зашагал по скользкой дороге обратно в деревню.

Сережка нес вязанку хвороста. Маленькая женщина (он узнал ее, она приходила к тетке Нюре), стоявшая у калитки крайнего в деревне дома, поманила его пальцем и заговорила, плача и сдавленно всхлипывая:

— Не ходи туда. Парня твоего... полицаи... р...расстрелял.

— Что?— вскрикнул Сережка, хотя все уже понял.

Женщина видела, как Бузин вел Петьку, слышала выстрелы. Потом, когда Бузин, уже один, снова прошагал по деревне, она сходила к окопу и набросала на могилку земли, решив, что попозже с помощью стариков по-настоящему похоронит мальчишку.

— Беги, парень!..

Дождь все шел, вода стекала с головы на лицо и была противно солоноватой. Но Сережка не обращал на это внимания, он съежился и сразу стал почти на голову меньше, губы заострились.

...Ночь тоже была дождливой. Во тьме непроглядной светился один только дом, там пировали два немецких солдата и Бузин. У немцев сломалась машина, и они решили заночевать.

Немцы что-то говорили, резко, лающе. А Бузин пел:

Степь да степь кру-гом,

Путь далек ле-жит...

Песня как песня, она нравилась Сережке прежде, а сейчас казалась такой же противной, как и хриплый голос полицака.

Наконец в доме утихли, и свет погас. Дождь по-прежнему лил, печально шебарша и булькая. Сережка вылез из сарая, он весь вечер просидел там, в соломе. Сарай — наискось от дома, в котором пировали полицака и немцы. Озираясь, пригибаясь и пыхтя, стал таскать сено к дому фашистов. Вытащил зажигалку — она все дни войны была с ним — и поджег.

«Только бы не проснулись». Но когда по двору заметались тени от огня и чернильная темнота, будто живая, стала сжиматься, нервно и неровно пульсировать, отступать, немцы и Бuzин проснулись, заорали и выскочили на улицу.

Он сделал ошибку: надо было ему сразу же убежать, а он, отойдя на другую сторону улицы, глядел, как пожар разгорается, и радовался, и, только увидев немцев и полицака, бросился наутек. Да так шибко бросился, что в темноте налетел на сваленное прясло, упал, опять побежал и снова запнулся за что-то.

4

Ему показалось, что кто-то зовет его. Иван открыл глаза. Рядом сидел белобрысый, лобастый мальчишка в мужицком пиджаке с дырками на рукавах, страшно тощий — кожа да кости, с большой не по возрасту головой, которая лишь усиливала впечатление его невыносимой худобы.

— Ты кто? Ты откуда?

Ивану казалось, что он спрашивает во весь голос, а получился хрипловатый шепот. Мальчишка отвечал медленно и монотонно, как заведенный. Он был болен, это по всему видно: вялый, с осоловелыми глазами... Лег рядом с Иваном, точнее будет сказать, свалился. Он шел в деревню со странным названием Вилки, до нее отсюда километра три-четыре. Иван удивился: как близко; но еще более удивился он, узнав, что до другой деревни — Тепловки — только километра два и почти рядом с ним, метрах в трехстах, проселочная дорога, — ведь он-то думал, что лежит в далекой глухой чащобе. По дороге, видимо, никто не ездит, не ходит. Бывают такие дороги, забытые, немые, заросшие травой, по которым когда-то, может быть, в прошлом, может быть, в позапрошлом году или еще раньше проезжали на телегах. И с тех пор колеи живут, и вроде бы дороги есть. Есть — и нету. На них и возле них почему-то охотно растут ядерные рыжички и волнушки, глубокие колеи долго после дождей хранят в себе прозрачную, чуть синеватую воду, и дороги эти навевают на путников легкую грусть.

Конечно, Иван подумал обо все этом не так подробно, без эмоций, мельком подумал.

Мальчишка шел по дороге, потом свернул в низину, к кустарникам, решив, что там должна быть речка, и услышал стоны красноармейца.

Узнав, что у Сережки есть зажигалка. Киселев сказал:

— Давай разожжем костер.

Мальчишке надо было помочь. Иван попытался подняться, закружило голову, боль в плече стала сильнее. И ноги были как не свои. Он разозлился на себя и зло застонал.

Они долго возились с костром, набросав в него что попало — сухих сучьев, шишек, зеленых веток. Не костер, а костерок получился, но все равно живой огонек, только много дыма. И Киселев подумал, что их могут заметить. Выбросил зеленые ветки, дыма почти не стало.

Спали под кустом. Сережка прижался к Ивану, был он горячий, как печка. Утром Иван с трудом добрал до ручейка, опираясь о березки и кусты, громко, смачно попил тепловатой воды, пахнувшей тиной, набирая ее в грязную пилотку, потом снова зачерпнул воды в пилотку и напоил мальчишку. Рядом с кустом, под которым они спали, увидел маленькую синюю сыроежку. Удивился, что у сыроежки крепкая, как у груздя, шляпка.

— На, пожуй.— Сунул ее Сережке в рот.

Тот недовольно выплюнул.

— Что, плохо?

Об этом можно было и не спрашивать: даже глаза, запавшие, потухшие, говорили о том, что с мальчишкой дело худо.

— Где болит-то?

— Голова болит. Все болит.

— Что все-то?

— Все! Я полежу.

— Полежи. Прижимайся ко мне поближе.

Вчера Иван надеялся, что мальчишка помаленьку оклемается, пойдет и позовет кого-нибудь. Но к вечеру стало ясно: не встанет, совсем распластался.

Красная Армия отступила, видимо, куда-то далеко, и можно ждать помощи только от сельчан, искать их и не попадаться на глаза немцам и полицаям. Дорога тележная, заброшенная, по ней едва ли поедут немцы, зря он вчера пугался. Хотя черт их знает...

— Ты отдыхай, милый, отдыхай,— хрипловатым голосом продолжал успокаивать Киселев Сережку.— Нас все одно найдут. И будут лечить. И будут кормить.

Говорил и сам уже не верил тому, что говорил. Но ведь не себе говорил — мальчишке.

— Холодно?

— Нет.

— Может, встанешь?

— Я п...полежу.

Отвечает таким голосом, будто обижается на Киселева. А тот снова ласкал его словами: — Полежи... Отдохни. Скоро к нам кто-нибудь да придет.

Хорошо бы рассказать мальчишке веселую сказку, но не помнил Иван ни одной сказки, ни веселой, ни грустной. Чем-то бы покормить его. Люди говорят, что летом в лесу не умрешь с голоду даже без ружья. Но Иван — горожанин, и лес всегда казался ему непонятным, даже немножко пугал его. Худые дела. И все же что-то теплилось в душе его, какая-то легкая надежда, только на что — неизвестно.

Сколько же все это будет продолжаться? Сегодня он чувствовал себя куда лучше, чем вчера, сегодня он жил, а не умирал; боязнь за мальчишку, желание опекать, оберегать ребенка — навсегда заложенное природой в каждом из нас неистребимое, святое желание, вдохнули в него жизнь и силу. Иван и сам дивился этому. Конечно, ноги у него все еще как деревянные, не его будто, и голос будто чужой, не его. Но кроме тела есть еще и дух. Не тот, в бессмертие которого верят, не тот, которому молятся, а обычный, представляющий собою как бы все внутреннее состояние человека. Да, здоровое тело порождает здоровый дух, но и здоровый дух омолаживает тело. Где он об этом читал? Иван попытался засмеяться, но получился короткий жалкий клекот. И все же сама по себе попытка засмеяться была хорошим признаком, он это понял.

Иван поддерживал в костерке огонь, тормозил Сережку, просил повернуться к теплу то одним, то другим боком.

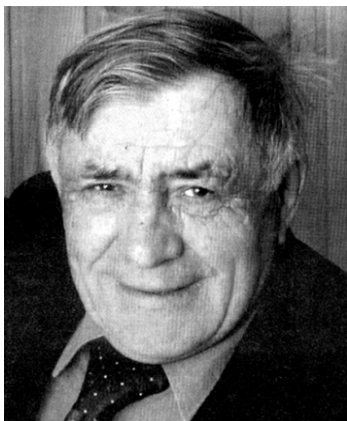
Сережка косил на него глаза. И в них было уже что-то живое. Иван подумал, что одиночество особо губительно действует на детей, и мальчишка, наверное, погиб бы, если бы не вышел к нему.

Вечером их увидели старик и две старухи, ехавшие на телеге из Тепловки в Вилки. Они взвалили красноармейца и мальчишку на телегу, и тощая, уже совсем старая кобылица, опустив голову, потянула их черепашьям шагом по заросшей травой, еле видной тележной дороге. Была еще одна дорога из Тепловки в Вилки, та — торная, людная, но старикам хотелось насобирать немножко валежника, которого много у речушки.

Они шли возле телеги, вполголоса переговариваясь. В полкилометре от деревни старик, остановив лошаденку, сказал с удивлением:

— А солдат-то ведь помер, братцы!

Старухи подошли, поглядели. Перекрестились.



Василий Иванович Юровских (1932 – 2007)

В.И. Юровских родился 25 декабря 1932 года в селе Юровке Далматовского района Курганской области в крестьянской семье. Учился в Уксянской средней школе, из-за крайней нужды Василий Иванович не смог закончить десятый класс и только в тридцать лет экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости. С третьего класса писал стихи и зарисовки о природе, рассказы и даже две повести. До службы работал в колхозе имени Калинина Уксянского района. В 1952 году уксянская районная газета напечатала первое стихотворение Василия Юровских, а в 1957 году он становится призером поэтического конкурса, объявленного областной газетой «Молодой ленинец».

После службы в армии работал литсотрудником, ответственным секретарём, заведующим отделом и заместителем редактора районных газет «Вперед», «За коммунизм», «Сельская новь», «Шадринский рабочий», «Авангард». Учился заочно в Уральском госуниверситете на факультете журналистики. С 1976 года – на творческой работе. Первая книга рассказов «Снегириное утро» вышла в 1968 году в Южно-Уральском книжном издательстве. За несколько десятилетий литературной работы издал в Челябинске, Свердловске, Москве, Шадринске 14 книг прозы. Среди них: «Материнское благословение», «Певучая речка», «Синие птички-пикушки», «Сыновний зов», «Журавлиные корни», «Родное гнездовье», «Столешница», «Родные», «Толстые ити», «Утротворец» и другие. В его прозе мы находим элегические раздумья о русской природе, о русском человеке, о добре и зле. В многолетнем литературном труде Василия Юровских одной из главных была тема детства.

С 1957 года Василий Юровских – член Союза журналистов. В Союзе писателей СССР состоял с 1975 года.

УТРОТВОРЕЦ

Как только становится весна хозяйкой, тянет меня на мысок между Межевными болотами. Приветных мест и ближе на примете полно, но туда, к осине покалеченной, по любой водополице ухожу...

Наткнулся я на неё случайно. Косили траву с отцом на берегу и набежали на грибы-диловины. Замшевые шляпки у них зелёные, как осиновая кора, а крепкие золотистые ножки красными ниточками перевиты. Оба не знали, как их назвать, и росли они только вокруг осины. Чуть отступи к берёзам – кроме сухих груздей да слизунов ничего не видать.

Наломали грибов и осину приметили. Гроза ли ударила или ещё кто – вполвершины сломана она, голые зацепы остриём торчат.

Прилегли отдохнуть под берёзой, и слышу я, будто струна балалаечная задребезжала. Стихнет звук, и опять кто-то щипнёт струну. Как есть балалайку настраивает...

Вот настроил он её и негромко, а так ладно игранул – мы с отцом разом поднялись. «Поблазнило?» – спрашивает он меня взглядом, а я плечами пожал. Какие там блазни в наше-то время?! А только кто же сыграл? Будь деревня близко, и то бы не поверили. Балалайку теперь если и услышишь, то не иначе в большом городе.

Ничего дельного не придумали и не нашли того балалаечника. Отец до вечера задумчивым был и перед сном убитого на войне брата Андрея вспомнил:

– Давеча и не соснул, а показалось – Ондрюшка балалайку налаживал. Бывало, меньшей Ваньша холостовать уйдёт, а Ондрюшка в заулке на балалайке поигрывает. Мастерил он их – лучше магазинных голосом. Девочек только Ондрюха пошто-то боялся...

Дубовиками грибы звать – дома по книжке угадали. А звук остался бы загадкой, не приди мы сюда весной и не заночуй на мыске. С той поры и зачастил я к осине. Отец на ноги ослаб, а из приятелей кто в такую грязь потащится сюда.

...Доберусь до мыска, засветло балаган подправлю и сушняком запасусь. А затемнеет – сварю кашу с дымком и под тканье бекасов хлебать начну. В неразгляди подлетит к огнищу смешной куличок и долго-долго пытается меня: «Ты кто? Ты кто?..»

Не тоскливо, а всё же томно мне одному до утреннего зоре-разлива. По сторонам на десятки вёрст нет души человеческой. Хотя не совсем один я здесь. Где-то в лесу спит тот, кому принадлежат и осина, и звание утротворца. А может, и не спит он вовсе: с беспокойством и нетерпением ждёт не дожждётся ему одному ведомой минуты.

...Всё тише и тише урлычут лягушки, реже блеют уставшие бекасы. Где-то на болоте переступил онемевшими ходулями журавль, курлыкнул хрипло, и... всё затихло...

Откуда-то потянуло сквозняком, словно был закрыт лаз балагана, а тут кто-то дверь отпахнул. Кто-то сдунул пушинки пепла, и запереглядывались угольки на огнище. Явственно стали выступать берёзы, и за ними застекленели водоразливы. А на востоке у кого-то тоже ожил костёр, и пламя слизнуло по горизонту остаток ночи...

Тогда неслышно появился он на осине, чутко и осторожно стал прослушивать свой инструмент. И кажется, не в лесу я, а на концерте знаменитого музыканта... Струны звучат всё громче и стройнее. Скоро, скоро, ещё секунды и раскатится по небывалому залу аккорд утротворца. И тут на узкой загривине за болотом недотёпа-тетерев зацедил сквозь клюв: «Чу-у-шь...» Как он помешал всем, кто напряжён ожиданием! Со всех сторон на него досадливо зашикали: «Ты-ти-шше...».

Он на осине затаился, и в еле уловимый скоротечный миг слышно было, как сердце моё торкнулось навстречу ему и свежему утру. И тогда поднялся звук струны на самой высокой ноте, и не то вздрогнули, не то разом зазвенели деревья. Не трель, не барабанная дробь, а именно звон струны раскатился по

округе. И заиграли в солнечные трубы журавли, и разручились косачинные подыгрыши, и отозвались голосами и крылышками бекасы. И поднялось на песнях солнце, возликовали небо и земля...

Тогда на осине видел я и не верил своим глазам: маленький дятел часто-часто, до злости на голове, ударял клювиком по сухой зацепине. И осина рождала чистый звук, он заставлял всех очнуться и спеть для весны всё своё самое задушевное.

Наверное, птицы считали: всё пришло само по себе. Никто из них не видел и не знал, сколько дней, а может, и лет потратил дятел, пока отыскал он никому не нужную покалеченную осину. Нашёл тогда, когда, может быть, отчаялся и потерял всякую надежду отыскать единственный для себя звук. Никто не знал и не слышал, как настроил он осину, вызвал к жизни сильный и стройный звук, заставил запеть и заиграть всё живое на земле.

...Начинался день, и обессиленный дятел незаметно улетел с осины. Я покидал мысок и легко шёл и шёл лесами. И беспокоился об одном: дожил бы до новой весны дятел, и не спилил бы кто на дрова осину.

КУПАВОЧКА

Под нависью черёмухи замерцала свежее-жёлтая головка купавочки. Она расцвела самой первой, но не бросалась в глаза, а как-то скромно жалась в тень. Дочка склонилась к ней и, не дыша, смотрела на купавочку. И шёпотом, точно боялась потревожить цветок, произнесла:

– А щёчки-то у неё зелёные...

И снова долго рассматривала купавочку. Поманила меня к себе и торопливо зашептала:

– Папа, слышишь, она о земле рассказывает. О бабушке Зайчихе и дедушке Барсуке, о солнышке и звёздочках ночью. Слышишь?

Я поверил дочке. Мне самому слышалось, как юная купавочка радовалась родной земле, теплу и птичьим голосам, белоумытым берёзкам на пригорке. И, наверное, моей девочке.

Давно ли она охала и всплёскивала ручонками на цветочную разноцветь клумб. А увидела в лесу купавочку — замерла, не наглядится на неё. И чудятся ей сказки, и русский край в песенной звени ей видится...

Стоял я рядом с дочкой, и неловко мне стало за себя, за взрослых. Как мы порой горячимся при чьей-то яркости... Удивляемся необычности, ахаем и спорим. Потом забудем и даже не вспомним, чему восхищались, и для чего столь шума затевалось.

А где-то поднимается рождённый самой землёй цветок. И когда он вырастает и раскрывается — мы не примечаем. Только после начинаем спрашивать-сетовать:

— А почему раньше-то не видели? Опять проморгали...

СИНИЕ ПТАШКИ-ПИКУШКИ

Суслик дернулся-вздрагнул и покорно затих у меня в руках. Он не бился и не царапался, а скопил на нас темно-синий глаз с нависшей слезинкой и ждал решения своей судьбы.

– Да живой ли он, папа? – заволновался сын и осекся...

Песочная шерстка трепетала-мурашилась, словно вот-вот из груди зверька вырвется маленькое горячее сердце.

– Папа, суслик-то обмочился! – снова ахнул Вовка.

– Сколько он страху натерпелся, – усмехнулся я и ослабил пальцы.

– Ну что с ним делать, сынок?

– Как чего? Отпустим! – удивился Вовка.

– А ведь он вредитель.

– Ну и что. Чему здесь суслику вредить? Сам видишь, земля одна да сеянцы акации на питомнике.

– Будь по-твоему, помилуем! – и я разжал пальцы.

Суслик рванул полем, высоко подкидывая круглый зад и смешную кисточку хвостика, непросохшего после струйки.

Что же, пускай живет... И не заступись за него сын, все равно отпустил бы его. Понимаю, вредитель он, а душа протестует. Нынче совсем редко услышишь птичий пересвист сусликов даже на покотинах. С полей и распаханых степей сжили их грозные пахари-тракторы, того и гляди, останутся скоро по музеям серые от пыли чучела зверьков. Ну а зерна осенью остается в полях немало, хоть и молотят хлеба чудо-комбайны.

...Грызуны - вредители. И в школе и дома внушали нам когда-то, если разговор касался сусликов, и хвалили тех, кто больше всех наловит простодушных зверьков.

И мы начинали с забавы, а в войну перешли на промысел. Лишь «съедали» ветра и дожди жидкий снег на степи у деревни, а мы уже бродили ватагами и отыскивали жилые норы.

– Нашел, нашел! – завопит кто-нибудь из нас, подскакивая у норы не столь от радости, сколько для согрева босых ног.

И загремят ведра на бегу, и начинаем мы таскать воду из лыв и болотин.

Эх, если бы с такой охотой поливали мы огуречные гряды!

Чего бы проще выманить из норы сухолюба-суслика – только не ленись, таскай воду, не давай ему опомниться. Ан нет! Оплошай, не ухвати вовремя, когда он мокрый очумело полезет из мутно-холодной дыры, – «заткнет» суслик ее задом и скорее задохнется-захлебнется, чем покинет нору. Хоть лей воду, хоть палкой тычь – не сдвинешь его, как норовистого быка.

Среди ребят прослыл я удачливым ловцом, и они освобождали меня от воды после двух-трех ведер, сажали сторожить суслика. Иные боялись, другие оправдывались, что, мол, бородавки по телу пойдут. А я наострился угадывать бульканье в норе и смело цапал сусликов даже за мордочки. Бывало, укусит зверек, но тогда еще сильней азарта и злости прибавляется...

Впитывала земля снежицу, и наступал самый трудный промысел.

Уже не оравой, а втроем – старший брат, дружок Осяга и я – вели мы ловлю пшенично-степных грызунов. Свивали петли из конского волоса и настораживали мелкие капканы, оставленные нам отцом.

– Добры отцы сусеки и лари хлеба заработали своим семьям, а наш всего и благословил оружия и капканы, – иногда, отчаявшись, ворчала мама.

Мы, однако, про себя не соглашались с ней. Хлеб мы давно бы съели, а ружье и капканы кормят нас круглый год.

Нет, не совсем уж и худой наш тятя, пусть сроду не домил так, как хозяйственные мужики. Всех младших братьев поочередно таскал он с собой по лесам и болотам. С возрастом они отходили от охоты и остепенялись, а тятя из всей Микиотиной породы остался бродягой-охотником. А мы-то с Кольшей в тятю по нужде.

...Заготовитель дедушка Яков Иванович отоваривал шкурки сусликов, хомяков и водных крыс отрубями и даже желто-серым сахаром.

Как-то прибежали к сельповскому амбару, где заготовитель принимал у нас пушнину, и остолбенели у распахнутой двери. Дедушка доставал из сундука глиняные пикушки и каждой насвистывал. Синие пташки с красненькими пятнышками сбоку весело распевали из амбара, и нельзя было отнять глаз от голосистых игрушек.

Яков Иванович щурился из-под клочкастых сивых бровей, хитро подглядывал за нами, и густая борода шевелилась улыбкой. Казалось, он не просто проверяет товар, а испытывает-подзадоривает нас с каким-то умыслом.

– Нам бы, Кольша, – заикнулся я на ухо брату, и он согласно вздохнул.

– Чего же понатащили нынче, охотнички? Сколь хлебушка упасли от окажных вредителей? – спохватился Яков Иванович и вынул из бороды последнюю синюю пташку.

К нашей пушнине дедушка не придирался. Он благоволил к тятю и частенько грустил, что война оторвала от дела самого заправского зверолова:

– Ить только горностаю по две сотни за зиму сдавал Иван Васильевич. По две сотни! А шкурочки-то без единой помарочки, белее снега! Первым сортом на базе шли. Во как!

Мы снимали шкурки без порезов и рвани, обезжиривали начисто. И заготовитель похваливал нас, а на других ребят хмурился:

– Портят шкурки токо. Думают, война, так она все спишет.

Дедушка для чего-то помусолил палец, вроде бы собирался отсчитать нам бумажные деньги.

– Молодцы, робятушки, молодцы! А чем отоварить? Есть маленько крупки пшеничной. Поди, стосковались по хлебному? Ай и чего спрашивать-дразнить!

– Дедушка, а пикушки почему? – осмелел Кольша.

– Пикушки... – Яков Иванович о чем-то задумался, и мы снова оробели.

– На пикушки хватит, робята. Дак голоднешеньки же вы. А потом... Потом, чо мать-то, Варвара Филипповна, скажет? Вас и меня отругает. Старый хрен, соблазнил-омманул малолеток. Смотрите, вы добытки, ваша воля.

– Пикушки! – выдохнули мы с Кольшей, и у дедушки разошлась в улыбке борода.

Он с эханьем махнул рукой на сундук:

– Ладно, робята! Мне тоже тятка в голодный год вместо пряника пикушку в гостинцы привез из города с заработка. Быть может, не запомнил бы я пряник, а пикушку до старости не забываю. Я ить чо их давеча перебирал? Вас растравливал, да? Не-е, детки, самого себя поминал и тятю-покойника. И не был я тогда пустобрюхим, а был самым богатым и сытым. Эдак-то оно, робята...

С пикушками, синими пташками, торопились мы домой от сельповского амбара. Свистульки из тальника, когда соковели лозины под гладкой корой, все ребята ладили хорошо; а Ванька Пестов соловьем-разбойником наяривал на берестинке. А таких, как эти, нет ни у кого в Юровке, и не на что их купить. А у нас есть они, распевучие пташки. Стоит дунуть легко в хвостик, и оживет птаха.

Мама услышала, как мы затворили за собой избяную дверь, и выглянула из за печи.

– Чего вам навешал сѣдни Яков Иванович?

Переминаясь с ноги на ногу у порога, мы оба молчали с Кольшей.

– Чо не сказываєте? Я кого спрашиваю?

– Да вот чо... - промямлил Кольша и разжал кулак.

На ладошке засинела потная пташка.

И у меня забила в руке, как живая, точно такая же синяя птаха. А если дать деру к бабушке или в коноплице на меже? Отойдет мама, и тогда.., а то вон как стемнела лицом и крепко сдавила ухват.

Ладонь у Кольши ходила ходуном, и птаха, казалось, сейчас спорхнет с нее, но не взлетит, а стукнется о половицы.

Мама уронила ухват и отвернулась от нас, а когда поднимала его с пола, почему-то вздрогнули у нее губы и – то ли дым пахнул из печи – завытирала глаза запоном.

Мы шмыгнули на полати и зарылись в старую лопотину.

В потемках завернула к нам соседка Антонида Микулаюшкиных. Посудили они с мамой громко об отцах, о войне, о работе и зачем-то перешли на шепот.

– До чего, Тоша, война нас, матерей, довела, – услышали мы мамин голос. – Совсем в робятах дитенков перестали различать. Давеча чуть не излупила я своих. А за что? Взяли на шкурки у заготовителя по пикушке. Только хотела ухватом хлестнуть, а с глаз-то вроде что-то и спало. Прозрела я, смотрю на них, а ить дитенки оне, совсем дитенки. Одежонка заплата на заплате, руки и ноги в цыпушках. Зверьков-то ить не просто наловить. Господи, думаю, да за что, за что я их бить собралась?! Сено сами косят и на корове возят, до полночи маются в лесу одни, ежели воз развалится. Дрова пилят и себе, и чеботарю Василью Кудряшу за обутики. И ягодники, и грузденики они у меня. Ведрами таскают эвон с какой дали! В нужде и горе забываешь и с них, как с ровни, спрашиваешь. А тут глянула, и сердце кровью облилось. Ребятенки, детки еще оне. Ни еды-то не видывали, ни игрушек. Эдак и детства не узнают, останется в памяти работа, голод и нужда.

...Нам было душно и жарко под окуткой, кашель давил дыхание, но мы боялись шевельнуться. Скрипнет полатница, и оборвется мамин шепот.

Ночью сбили мы с себя лопотину и, ненадолго просыпаясь, прижимали к себе синие пташки-пикушки.

Практическое занятие

Своеобразие прозы В.И. Юровского

План

1. Биография и творческий путь писателя.
2. Образ природы в творчестве В.И. Юровского.
3. Жанровые особенности прозы В.И. Юровского.
4. Образ рассказчика в произведениях писателя.
5. Тема детства в литературном наследии В.И. Юровского.

Список литературы

1. Крупин В. Благословение земли // Наш современник. – 1979. – № 12.
2. Кузин Н. Зауральское поле добра // Сверстники. – М.: Современник, 1980.
3. Кузин Н. На языке любви и света // Урал. – 1981. - №3.
4. Потанин В. Грани таланта: Штрихи к портрету писателя // Поэтика художественного произведения. – Курган, 2002.
5. Федорова В. Родом из детства: Василий Юровских // Новый мир. – 2004. – 8 июля.
6. Филиппович А. Тихая речка // Урал. – 1975. – №1.
7. Яган И.П. Многоликая и самобытная. Куртамыш, 2007.



Людмила Анатольевна Туманова

Л.А. Туманова родилась 4 октября 1945 г. в Кургане, где проживает и сейчас.

После 9 класса Людмила Туманова поступила в студию при Курганском областном театре драмы, где проучилась год.

В августе 1963 года начала работать помощником режиссера Курганской студии телевидения и продолжала учебу в школе. Первой ее ролью в кино должна была стать роль в документальном фильме о знаменитом докторе Г.А. Илизарове. Илизаров должен был играть сам Илизаров, а его пациентку, девушку, у которой одна нога короче другой, – молодая актриса Туманова. Сыграть свою роль в этом фильме Людмила Туманова не успела. 24 октября 1963 года по пути на работу произошел трагический случай: ей было нанесено в спину двенадцать ножевых ран, одна из которых стала роковой – в результате повреждения спинного мозга наступил паралич обеих ног. С этого дня ее миром были кровать и треугольничек неба в окне. В 1965 году пришли первые стихи, а через год песни, которые она исполняла, аккомпанируя себе на семиструнной гитаре.

Стараниями друзей пленка попала на радиостанцию «Юность», а в январе 1969 года программа Всесоюзного радио «Здравствуй, товарищ!» передала по своим волнам песню «Стюардесса» в исполнении автора. Пришла известность.

Наступили 70-е. На местном ТВ стали ставить детские спектакли по сценариям Людмилы Тумановой, а фирма «Мелодия» впустила пластинку ее песен. Центральное телевидение выпустило фильм о Людмиле Тумановой. Назвали его «Нежность».

В 1972 году Людмила Туманова принята в Союз журналистов СССР, в 1982 году она получила звание лауреата премии «Комсомола Зауралья» за творческую и концертную деятельность.

КО МНЕ, МУХТАР!

Листом кленовым хвостик
И борода метлой,
Ко мне пришел не в гости
– Останешься со мной.
Пусть задран кверху носик,
Понятно мне вполне
Что ты чудесный песик,
Ко мне, Мухтар, ко мне!

Ты весь, как перец, красный
От носа до хвоста.
И, видно, не напрасно
Несли тебя сюда.
Пусть задран кверху носик,
Понятно мне вполне
Ты очень добрый песик,
Ко мне, Мухтар, ко мне!

Хвостом пусть не виляешь,
Не лаешь, не скулишь...
Ты даже сам не знаешь,
Что радость мне даришь.
Пусть задран кверху носик,
Понятно мне вполне
Что ты волшебный песик
– Ко мне, Мухтар, ко мне!

ЖЕНЩИНА-ВЕСЫ

Я могу быть разной:
Деловой и праздной,

Милою девчонкой
С «чертиком» в глазах...
А могу быть властной,
Женщиною страстной –
Мед-слова мои тягучи,
Розы – на губах.

Но люблю быть нежной,
Тихой и безбрежной,
Как волна – напевной,
Пряной, как цветы.
Ни с одной не венчан,
Из троих нас, женщин,
Ну скажи, во мне какую
Больше любишь ты?

Что бы ни ответил,
Будет лик мой светел.
Для меня самой загадка,
Где источник сил?!
Смешаны так ловко –
Ангел и плутовка,
Вот такая я – Людмила,
Женщина-Весы.

ВОЗЬМИ МОЮ НЕЖНОСТЬ

Возьми мою нежность
– Путь будет не близкий...
Там ждет неизвестность,
Маршрут не туристский.
Берут в чемоданы
Всего понемногу,
А ты возьми нежность
С собою в дорогу.

Возьми и улыбку –
С ней будет светлее,
Ненастные мысли
По ветру развеет.
Вдруг звездною ночью
Грусть одолеет...
Возьми же улыбку,
С ней будет светлее.

Вернет тебя песня –
Её ты услышишь,
Она все расскажет,
О чем не напишешь.
Берут в чемоданы
Всего понемногу...
Возьми мою нежность
С собою в дорогу.

ПОКА НЕ ПОЗДНО

Не знаю, кто я и зачем
Здесь на Земле, по чьей я воле?
Командированная – кем,
Кто ниспослал такую долю?..

Я одинока в этом мире,
И Одиночество – мой бог.
Моя галактика – квартира,
Спираль закрученных дорог.

Всегда займется нужным делом
Самодостаточность моя,
Душа в любви сольется с телом,
И снова возрождаюсь я.

Пою стихи, слагаю песни –
Конечно, это мой удел,
А увлечений поднебесья
Необозначенный предел.

Что выполнить еще должна,
Душа чтоб устремилась к звездам?
Испить судьбу свою до дна –
Я пью, пока еще не поздно.



Анатолий Дмитриевич Львов (1949-2008)

А.Д. Львов родился в 1949 году в городе Кургане. Учился в общеобразовательной школе № 38. Еще школьником начал участвовать в передачах местного телевидения. В 1973 году окончил в Ленинграде факультет теории и истории искусств Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина при Академии художеств и вернулся в Курган. Работал в редакции областной молодежной газеты «Молодой ленинец», редактором областного радио. С 70-х годов и до конца своих дней сотрудничал с Курганской государственной телерадиокомпанией, готовил авторские телепередачи о живописи и театре.

В 1975-1982 годах – научный сотрудник краеведческого музея. С 1982 – заместитель директора по науке Курганского областного художественного музея (КОХМ). С 1988 – директор Курганского областного драматического театра. С 1989 - директор Курганского областного художественного музея. С 1995 – ученый секретарь КОХМ. С 1996 – преподаватель истории искусств в школе-гимназии № 27. Анатолий Дмитриевич необычайно одаренный человек, с широчайшим кругозором и эрудицией. Он был членом сразу нескольких творческих союзов России – Союза журналистов, Союза художников, Союза театральных деятелей. Статьи Анатолия Львова как искусствоведа и критика неоднократно печатались в журналах «Урал», «Художник», «Театральная жизнь», «Вопросы и ответы», «Слово лектора», коллективных сборниках. Выступления Анатолия Дмитриевича на радио, по телевидению, в печати давали четкие ориентиры в сложном мире искусства, воспитывали художественный вкус как у молодежи, так и у людей зрелого возраста.

С 2005 года член Союза писателей России. К этому времени, кроме многочисленных газетных и журнальных публикаций, у него вышли две книги стихов. В 1993 году на международном конкурсе журнала «Юность» вошел в число призеров, его стихи были опубликованы в двухтомном итоговом сборнике «Глагол». В 2002 году вышел его первый поэтический сборник «Эхо дней». В 2004 году – вторая книга стихов «По кругу». В 2007 году выходит поэтический сборник «Детский парк». Анатолий Дмитриевич Львов – лауреат премии Губернатора Курганской области и премии «Признание» (г. Курган).

Ушел из жизни 9 февраля 2008 года.

В вагонах сотрясаясь,
качается Россия.
Куда она сорвалась,
спроси её, спроси её!
Отголосив, перроны
становятся пусты.

В гремящих эшелонах
стремленья и мечты.
Под разговоры тихие
и за полночь не спится.
Спокойны ночи, лихо ли –
страна такая –
мчится!
Эх, птица-тройка, да дуга,
да быстрая езда!
Не выгода, а радуга –
российский талисман.
В незнаемое, в высь,
по глупости, по младости,
по разности – нестись
к гибели иль радости.
И письма на синем
берёзовыми высями.
А что же там написано,
спроси себя, спроси себя.

1985

Коль за год три стихотворенья
написались –
уж хорошо. Оно уже не зря.
Не каждая в листок завьётся завязь,
и трудно думать, много говоря.

Тем более, весна шуршит и пляшет,
плашмя кладя слои голубизны
на плечи крыш, полы плащей и шляпы
прохожих, выносителей весны.

Галдят грачи в мохнатых шапках гнёзд,
видны насквозь прямые лица улиц,
и каланчи пожарной жёлтый гвоздь
торчит, себя стесняясь и сутулясь.

Курган весенний! Тяжело, легко.
Невыносимо. Грязно. Одиноко.

Светло. Мы жадно пьём, как молоко,
утрат, надежд, младенчества мороку.

1998

Мы сравниваем женщину с звездой,
о, как она блестяще недоступна!
Но не желать её достичь – преступно
Мы сравниваем женщину с звездой.

Мы сравниваем женщину с луной,
сияющим светилом синей ночи.
Она приливом наполняет очи.
Мы сравниваем женщину с луной.

Мы сравниваем женщину – но с чем
её сравнить, сравнением не обидев,
убогости сравнения не увидев.
Мы сравниваем женщину – но с чем...

2003

Откроем форточки души!
Её давно пора проветрить
от влаги крадущейся смерти
и высушить, и осушить
от пенопений и от лжи,
от равнодушия и лени,
от счастья падать на колени
и ползать, как в траве ужи.
Судьбу не зли и не смеси.
Благодари, что будет утро,
оно, ведь, как известно, мудро.
Откройте форточки души.

2006



Виктор Фёдорович Потанин

В.Ф. Потанин родился 14 августа 1937 г. в селе Утятское Притобольного района Курганской области в семье учителей. Отец – Федор Степанович, погиб в первый же год Великой Отечественной войны, а мать – Анна Тимофеевна, овдовев, осталась учительствовать в селе.

После окончания школы Виктор Федорович поступил в Курганский педагогический институт. После окончания обратился к журналистике. Печататься начал в районной газете в 1954 г. (рассказ «Невысказанное»). Затем стал корреспондентом газеты «Молодой ленинец», ездил в командировки, исколесил всю Курганскую область. Его материалы печатались в журналах «Урал», «Сельская молодежь», «Смена», в еженедельнике «Литературная Россия» и в других периодических изданиях, передавались по Всесоюзному радио. Первый сборник рассказов писателя «Журавли прилетели» вышел в свет в Кургане в 1963 г.

В 1967 г. он окончил Литературный институт им. Горького. Книги «Подари мне сизаря», «Туман на снегу» и другие принесли молодому писателю, которому тогда не было и тридцати, всероссийскую известность.

У героев большинства произведений писателя разные характеры, но роднит их одно – это люди зауральской деревни. Люди, природа и быт Зауралья вошли на страницы его произведений, став достоянием читателей.

В 1966 г. писатель был принят в Союз писателей СССР. Виктор Федорович – лауреат премии им. Ленинского комсомола, Союза писателей РСФСР, им. И.А. Бунина, Всероссийского литературного конкурса им. В.М. Шукшина, литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, Имперской премии Эдуарда Володина «За высокое служение литературе». Ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Почетный гражданин Курганской области», «Почетный гражданин ордена Трудового Красного Знамени г. Кургана», награжден орденом «Знак Почета», орденом Почета и медалью им. М. Лермонтова. На X съезде Союза писателей России Виктор Федорович избран членом высшего творческого совета, работает в Приемной коллегии Союза писателей России.

Многие годы В.Ф. Потанин является членом редакционных советов издательства «Современник» и журнала «Урал», консультантом Курганской писательской организации.

ПРОВИНЦИАЛКА

Весна была совсем рядом, за окнами, и все живое потянулось к ней, предчувствуя перемены. И они уже наступали: солнце палило сильно, по-летнему, листва на деревьях клубилась. Но счастливей всех были птицы. Май месяц —

их время. Людмила Максимовна слушала, как голуби стучат лапками по карнизу, как самозабвенно воркуют. Потом она протерла очки носовым платочком и устало вздохнула: «Господи, как им не надоедает. То воркуют часами, а то скребутся как мыши...». Она сердито прищурилась. Почему-то болела голова и трудно дышалось. «Это, наверно, от духоты. Ну конечно, конечно...» — догадалась она вдруг, и ей захотелось распахнуть форточку, чтобы впустить в эту душную аудиторию хотя бы глоток свежего воздуха, и в тогда бы... «А что бы тогда?». Она усмехнулась и посмотрела долгим взглядом на оконную раму. Она была еще закрыта плотно, по-зимнему, каждая щелочка заделана гипсом. «Где же наши его достали? Наверно, по благу...». Снова мелькнуло в голове раздражение, и она сжала виски ладонью. Боль не проходила, и в затылке образовалась тугая неприятная тяжесть. Так бывало к изменению погоды. И над бровями тоже что-то нависло. Людмила Максимовна чувствовала, что начинает нервничать. Студенты отвечали сегодня очень медленно и тягуче, и было стыдно слушать, как ее родной предмет — история — тонет в серых скучных словах. «Значит, плохо научила их», — подумала опять с глухим раздражением, но сразу же отбросила эту мысль. Ведь думать так — значит, окончательно расстроиться, а она этого боялась пуще всего...

А за окном шумел май. Преподавательский стол почти упирался в раму, и Людмила Максимовна отчетливо видела, как в институтском дворике ребята кидают мяч и машут руками. Но их крики не разобрать. И тогда она поднялась со стула и рывком распахнула форточку. С карниза с шумом сорвались голуби и сразу же забрались в самую высь. Людмила Максимовна невольно залюбовалась птицами. Голуби чертили в небе какие-то замысловатые линии. Солнце отражалось в крыльях, и белые птицы казались розовыми. Этих птиц как будто нарисовали, раскрасили... «Да бог с ними, с этими голубями! Мне не до них», — приказала себе Людмила Максимовна и стала нетерпеливо постукивать по столу большим накрашенным ногтем. Потом не выдержала и посмотрела с ехидцей на девушку, которая сидела в двух шагах от нее.

— Вот что, Денисова. Наша пауза что-то затягивается. Значит, билет вы не знаете?

— Да нет же. Я знаю. Я просто забыла.

— Ну-ну... — И опять стало грустно, не по себе. Людмила Максимовна чувствовала, что многие студенты не любят ее. Хотя она старалась не думать об этом, но их недоверие все-таки обижало. «А как это исправить, ну как?!». Вот и сейчас ей захотелось сказать что-то хорошее, успокаивающее Зое Денисовой, которая плачет, не закрываясь, как ребенок, комкая экзаменационный билет. Но накопившаяся обида мешает ей овладеть собой, и она переходит на свой обычный иронический тон.

— Вы представляете, наша Денисова готовится в драму. Или Иван III разжалобил? Так поведайте скорее о своей скорби...

— Нет, нет, я подумаю чуточку!

— А что думать... Может, не знаете, что отвечать?

— Да нет же! Я знаю, но я забыла...

О господи! — вздохнула вслух Людмила Максимовна и покачала укоризненно головой. А потом снова встала обида: «Лентяи какие-то, а не студенты. Хоть головой разбейся о стену, но таких не научишь...». И сразу вспомнилось, как месяц назад она проверяла в этой группе конспекты. Очередь тогда дошла до Денисовой. Но конспектов у студентки не оказалось. «Что же вы?» — стала стыдить она Денисову, выговаривать, но та только посмеивалась да моргала своими безвинными глазками: «У меня есть конспекты, но я их потеряла. Честное слово. Не верите?» — «Да я верю,— не отступала она от Денисовой,— но у вас должна быть специальная тетрадка?». И опять моргают глазки, наливаются нетерпением: «Сколько можно говорить, что я потеряла... А тетрадка была у меня, неужели не верите?..». Это воспоминание немного развеселило ее, отвлекло. Людмила Максимовна посмотрела вприщур на студентку:

— Ну и долго будем молчать?

— Я еще подумаю чуточку.

— Ну думайте. Мы терпеливые.

А Зоя Денисова и вправду не знала, что отвечать. Ее глаза выпрашивали подсказку у подруги, сидящей за соседним столом, но та нервно отмахивалась рукой. И Зоя сникла совсем. В волосах у нее запутался солнечный зайчик, скользнул по мокрым ресницам...

— Так что же, Денисова?

— Я знаю, я вспомню...

— Давайте быстрее вспоминайте, а то до утра не закончим.

У Людмилы Максимовны дернулись щеки. Теперь уже ясно: экзамен затягивался, а они собирались сегодня в кино. И билеты даже купили заранее. Если она не придет домой вовремя, муж не на шутку рассердится: молча просидит па диване до поздней ночи. А в зубах опять — неразлучная папироса... Ведь это уже не первый раз. Недавно и в театр билеты пропали. Только куда-нибудь соберутся — что-то случится. Вот и теперь придется отложить кино до воскресенья. Жизнь, жизнь, — докапают студентики... И так вот каждый раз, «Студенты не будут знать Киевскую Русь, а я буду плохо думать о себе». А ведь недавно еще душа была полна ожиданий. Думалось: вуз — это что-то большое, огромное... Это работа до исступления, потому что в этой работе вся жизнь: и студенческие вечеринки, и научные кружки, и рефераты, и много разных милых мелочей, от которых заранее счастливо кружилась голова...

Внезапно вспомнилось, как она защищала свою диссертацию. Дело было в соседнем городе. И город этот, шумный и суетливый, и ни одного родного лица вокруг! И на защите тоже — ни одного родного лица... Она уже ни на что не надеялась. Казалось даже —теперь все потеряно, все прощай. Но в этот миг в дверях появился Алексей. Какая радость! Просто немислимо... Бросил свою работу, приехал. Она смотрела на него и не верила. Но это был он, он! Самый дорогой, самый желанный, единственный... В руках у него был огромный букет сирени. А за окном была весна. И у Алексея в глазах— тоже, и она поняла: теперь все будет хорошо.

Через два месяца они поженились. И было вначале хорошо у них, все хорошо... А теперь вот сломалось, запуталось: ушел в себя муж, отгородился работой, друзьями, и она видит, что ему скучно с ней: «Но почему, почему? Наверно, с какой-то другой ему весело?.. А может быть, разлюбил?..». Она боялась этих вопросов, боялась искать причину, потому и злилась на всех: на себя, на студентов, на мужа. Но тот молчал всегда дома, сторонился ее глаз, уходил от вопросов. А ей хотелось узнать, как у него на работе, с кем он близок на заводе, о чем мечтает, тревожится, но муж только улыбался в ответ и хлопал портсигаром. Она уже смертельно устала от этих безмолвных семейных сцен, она даже боялась, что Алексей скоро уйдет от нее, уйдет навсегда. В институте знали об этом и жалели ее, сочувствовали. И даже студенты уже догадывались, что у нее плохо в семье.

— Ну как вы, Денисова? Если не знаете — лучше признаться.

— Я знаю, я вспомнила! — оживилась студентка глаза у нее заблестели, и она стала тараторить бодро и весело, как будто читала с листа. «Ну, конечно, конечно, достала где-то шпаргалку»,— догадалась Людмила Максимовна и устало закрыла глаза. Она хотела понять, о чем говорила студентка. И вначале это ей удалось, но потом лопнула какая-то ниточка, и весь смысл потерялся, рассыпался. Она слышала все слова, но ничего не понимала, не чувствовала и вскоре стала думать совсем о другом... Со стороны можно было подумать, что она задремала...

В последние недели с ней творилось что-то неладное — головные боли, бессонница. А если головная боль затихала на время, она испытывала полное равнодушие ко всему. И даже больше того: она начинала жить точно бы во сне, переставала замечать посторонние звуки и даже голоса самых близких, знакомых. Она, конечно, все видела, слышала, но эти звуки доходили до нее словно через какую-то стену, а может быть, через воду. Так бывает иногда, когда человек зовет кого-то в сильном тумане. Кричит громко, до изнеможения, но звуки гаснут сразу же, почти не доходя до человека. И тот, понимая это, уже перестает кричать звать, возмущаться — и доверяется теперь только судьбе, providению. И Людмила Максимовна тоже доверилась только судьбе своей: куда вынесет, туда и ладно. Но пришло скоро другое горе — у нее стала путаться, слабеть память. И это всего тяжелее. Она просто физически слышала, замечала, как мысли ее сплетаются в какие-то неясные, замысловатые кружева: и распутать нельзя их, и понять невозможно. «Боже мой, я ведь уже сумасшедшая. Если не заметили, то скоро заметят»,— иронизировала над собой Людмила Максимовна, но даже ирония теперь не помогала. И дело приняло худой оборот: попросит ее, к примеру, мать налить себе стакан чаю, а она достает ей с полки какую-нибудь книгу. А зачем ей книга-то, ну зачем?! Мать — простая деревенская женщина и книг совсем не читает... А иногда хуже того: позвонит ей по телефону самая близкая подруга Анна Ивановна, и она слышит ее голос, а как зовут подругу, совсем забывает. И вместо Анны Ивановны называет ее то Галиной, то Полиной Ивановной. Беда, да и только. «Это тебя от мужа. Он тебя доводит, терзает. Да, да, и не возражай даже. Мы с тобой люди провинциальные,

тихие, вот и крутят нами мужья, помыкают...» — уверяла ее Анна Ивановна и смотрела на нее цепко, внимательно, как будто зная что-то, недоговаривая. Подруга была старше ее лет на десять, потому судила обо всем полным бесстрашием. Да что подруга! Так же думала и мать Людмилы Максимовны. «Это у тебя все от него, от Алешеньки,— наговаривала ей мама, старая добрая женщина. — Гуляка он у тебя да бездомник. Только отвернись — сразу пошел по друзьям-сотоварищам! А ты сидишь за своими книжками да терзаешься. А надо прощать ему, доченька. В прощенье всегда — сила бабья... Ты думаешь, почему так много несчастных мужей и жен? — Вдруг спрашивала мать и смотрела прямо в глаза. И сама же себе отвечала:—Да потому, что жены эти ничего благоверным своим не прощают — и ни водочку, ни молодочку... А возьми любую мать или даже отца. Так они дитенку родному отпустят любую вину, даже самый тяжелый грех. Что молчишь? Может, неправильно? Нет уж, доченька! Не переспорит меня никто. Ведь на том и земля стоит». И мать поджимала губы обиженно, со значением. И даже как будто сердилась на кого-то, таила печаль. А потом медленно поворачивалась к ней всем туловищем и снова начинала говорить очень тихо и наставительно: «Терпеть надо, доченька, а вы, нынешни-то, ничего об этом не знаете. А ведь и раньше не хуже вас были жены да женщины, а хватало у всех терпения. Да и тыном ветра не удержишь. Если уж что решил твой Алешенька, то хоть под колеса ложись, а он не отступит. Прямо не характер — како-то олово. Да и не надо было выходить за красивого. Недаром старые люди говаривали — правда, про бабу это, да не все ли равно, — если верна, мол, то некрасива, а если красива —то неверна... Так что бог терпел и нам велел». А Людмила Максимовна слушала это тихое материнское слово и почему-то чувствовала себя старушкой. Ровно месяц назад ей исполнилось тридцать лет. «Это же чепуха, это же самая молодость»,— уверяла ее подруга Анна Ивановна. А она слушала ее, согласно кивала, а сама думала, что ей совсем не тридцать, а наверное, уже пятьдесят. Где-то она читала, что страдания увеличивают жизнь...

— Людмила Максимовна, у меня все по первому вопросу.

— Что, что? — Она вздрогнула, а потом поняла, что это голосок Зои Денисовой. Это сразу ее успокоило, и она взяла себя в руки.

— Приступайте ко второму вопросу. Только говорите кратко о главном...

— Хорошо, хорошо! Зоя Денисова зашуршала своими бумажками. А через секунду уже опять поднялся к самому потолку ее звонкий уверенный голосок. «Значит, передали все же шпаргалку. Но как они ухитряются...» — усмехнулась Людмила Максимовна и начала откровенно разглядывать Зою. И странное дело — студентка ей очень понравилась. И чем дольше смотрела на нее, тем сильнее росло это чувство, очень похожее, наверно, на материнское. Особенно притягивало ее лицо. Нет, не лицо даже, а волосы. Там, в волосах у нее, опять запутался солнечный зайчик, и потому волосы казались слегка рыжеватыми. Вверху они посветлей были, поярче, внизу — потемней, посумрачней, и в них блестела новенькая заколка в форме краба, а может, лягушки... «А ведь это безвкусно...— отметила про себя Людмила Максимовна, потом сразу же ос-

тановила себя.— Да хватит уж злиться на добрых людей. У моего вон мужа такие же волосы. Да, да, такие же у Алешки. Очень теплые, мягкие, возьмешь на ладонь — и сразу провалятся...— Она улыбнулась, полузакрыла глаза. — А ведь он красивый у меня, прямо хорошенький. Даже и не муж — одуванчик какой-то! И все эти волосы. Ах, эти волосы...». Она почувствовала, как острый нежный комочек царапнул ей горло, а потом сделалось совсем хорошо. «Ах эти волосы, волосы...» — повторила она опять про себя. А потом зашло в голову снова злое и горькое: вот сижу здесь на этом нудном экзамене, а в это время, может, кто-то трогает их веселой женской рукой... «Но нет, нет! Надо выбросить из себя эту чушь!» — приказала она сама себе, но ничего из приказа не вышло. Настроение было уже испорчено. Она вспомнила про ту анонимку. И сразу рана открылась. Да она и не зарастала. И Людмила Максимовна снова увидела, как наяву, тот высокий стремительный почерк с наклоном влево для конспирации. И тот синий конверт с красной маркой-квадратиком тоже увидела. У нее сразу больно дернулось сердце, сбилось дыхание. «О господи, господи! Зачем мне это, зачем...» — шептала душа, но видение не проходило, и буквы снова и снова вставали плотными алыми рядами и шли прямо на нее, наступали: «Хорошенько следите за своим мужем. У него в десятом цехе — любовь. Нам обидно за вас. Резеда». А слова-то какие? А подпись? И что это за цветок такой? Резеда? Наверное, хороший... У Людмилы Максимовны дрогнули губы, и, чтобы скрыть свои чувства, она подошла близко к окну. День угасал. И небо уже стало блекнуть, сереть, еще час, два — и солнце пойдет к закату, а там уже ночь — очень длинная, нудная, когда нет ни сна, ни покоя... Тогда муж тоже пришел поздно ночью, сказав, что задержался на заседании. Она не хотела передавать ему тот конверт, но за чаем не удержалась, спросила: «Алешка, у вас есть на заводе десятый цех?» Он удивленно поднял брови: «Есть, конечно, а что?» Он ответил очень спокойно, бесстрастно, как будто она спросила об оторванной пуговице или о какой-нибудь ерунде. И тогда она подала ему конверт. Муж, ничего не соображая, долго вертел перед глазами эту бумажку, а потом, что-то поняв, стал кричать на нее, дура, мол, интриганка. «Разве можно верить какой-то грязной бумажке?» — «А я и не верю», — ответила она ему тихо, чуть слышно, даже просительно как-то. После таких слов любой бы успокоился, а мужчина тем более, но муж закричал еще сильнее, даже голос сорвался. И дошло до нее: а ведь он, наверное, притворяется. Очень естественно притворяется. Не придерешься. И она его осадилась: «Алеша, тебе бы играть в провинциальном театре. Там тоже кричат всегда, машут руками». На это он ответил хмуро, сквозь зубы: «Ты сама дура старая, провинциалка». И тогда она вцепилась ему в рубашку и стала тянуть ее на себя — рубашка трещала, а она приговаривала: «А ну повтори! Я, значит, старая, старая?!» Неужели это было? Даже теперь все еще стыдно, невыносимо... И с тех пор в доме начался ад. И сейчас он не прекратился. Эх, если б появился у них ребенок! Она даже имя ему придумала — Федя, Феденька, Федор Алексеевич — царский сыночек. И так же бы его одевала по-царски — в дорогие шубки и в меховые сапожки. А шубу подпоясывала бы кушачком по старинке. И покупала бы ему самые лучшие книжки, игрушки, и завела бы ему собаку. Водолаз — есть такая собачья порода. Когда ведут та-

кого огромного водолаза на блестящей цепочке, то даже неясно: то ли медведя, то ли собаку... Да-а, все бы сложилось тогда иначе. Но сына не будет. И врачи не дают надежды — и виновата в этом она, только она, потому что в детстве переболела какой-то опасной простудой. Недавно она рассказала об этом Алеше. Но муж не пожалел ее, не вошел в положение. И ад в доме усилился, и ссоры не прекращались. Не приведи никому такое горе. Но многие в институте уже знали об этом горе. Да и в маленьких городах разве скроешься?.. Она очнулась и взглянула на Зою Денисову. Та смотрела на потолок и тараторила. Людмила Максимовна прислушалась: студентка излагала материал правильно и последовательно. И все факты увязывала с современностью. «Да где же она достала такую грамотную шпаргалку? А может, она сама вспомнила? Но нет, нет,— улыбнулась Людмила Максимовна.— Да и что вспоминать, коли не было в голове.— И тут же оборвала себя:— Ну почему я такая подозрительная? Это все он, он! Да, это муж сломил меня окончательно. Да и любви между нами теперь уже нет, да и будет ли — это вилами на воде... Я ведь уже старенькая, увядшая, через год мне будет уже тридцать один...» И в тот миг студентка вопросительно кашлянула, и Людмила Максимовна недовольно передернула губами. И голос у ней вышел сухой, будто с песочком:

— У вас все, Денисова?

— Все, что знала, рассказала...

— Тогда давайте вашу зачетку. «Удовлетворительно» вас устроит?

— Конечно, Людмила Максимовна! Стипендия мне не нужна.

— Отец, что ли, прокормит? — Глаза у нее раскрылись шире, повеселели, и это сразу заметила Зоя Денисова.

— Отец у нас хороший! Он у нас целый город прокормит. Недавно получил новую машину. Он же шофер-дальнорейсовик. Как футболист живет: три дня дома, месяц — на воле.

— Значит, как футболист... — рассмеялась Людмила Максимовна.

— Это мама его прозвала. А он добрый — не сердится.

— Добрый?.. А что значит — добрый? — Она уцепилась за слово.

— А он все время молчит или спит. Умается за дорогу и спит как сурок. Не верите? Ну вот... У нас как-то в квартире провода загорелись — короткое замыкание. И мы кричим, гремим, соседей позвали. А он спит себе да похрапывает. Так и пожар потушили, а он головы не поднял... Вы не верите? Он такой добрый у нас, отзывчивый. Как Иванушка-дурачок... И выше всего ставит работу.

Добрый, значит? — опять не то спросила, не то усомнилась Людмила Максимовна.

— Очень добрый, очень! Он у нас собак даже любит и кошек. Кто-нибудь котят выбросит, а он подбирает. Да-а! У нас сейчас четыре кошки живут — Васька да Мурочка, да еще Мурзик с Тобиком. Как соберутся вместе — просто умора.

— О господи!..

— А у нас и собачки есть. Пока две, но папка не успокоится.

— И вам разрешают?

— Интересно! В стране же полная демократия. Хоть слона в дом приводит!

— Ну хорошо, Денисова, я вас больше не задерживаю. Хорошо. А кто у нас следующий?

Следующей была Таня Инсарова. Она выглядела настоящей красавицей. Очень высокая, стройная, с тяжелой косой до пояса. Людмила Максимовна смотрела на нее и завидовала: вот бывают же такие чудесные волосы. Это же счастье, счастье, а Таня, поди, не ценит... А вдруг это не ее коса? Сейчас ведь появились разные парики да шиньоны. И она даже хотела спросить об этом, но в последний момент удержалась. И потому спросила совсем о другом:

— Значит, начнем с первого вопроса?

— А как же! Конечно, с первого! — Таня стала раскладывать по столу свои записи. Пальцы у нее немного подрагивали. Это, наверное, от волнения. — Я план ответа составила. Можно по плану? Я всегда так делаю, чтобы не сбиться.

— Не возражаю. Только говорить по существу. А если не знаете — признавайтесь сразу...

— Вы что, Людмила Максимовна! Я билет знаю, честное слово. Значит, так... — Но не успела она сказать и трех слов, как в дверь стал кто-то заглядывать, и дверь заскрипела, заколыхалась. Этот скрип раздражал и давил на нервы. Людмила Максимовна не выдержала, незаметно подошла к двери. Но там все равно услышали и заметили, потому что сразу же раздался топот и смех. Она посмотрела вопросительно на студентку. Таня потупила глазки. Потом медленно подняла их и покраснела. И вдруг призналась: — Вы простите... Это Алеша, Болеет за меня, даже отпросился с работы.

— С какой работы?

— Да он же с машиностроительного... Через десять дней ему в армию — весенний призыв. Боюсь только, что в опасное место могут отправить. Сейчас ведь везде можно погибнуть. А он ведь — не жил еще. Правда, правда... Он даже вина не пьет и не курит. — Таня еще сильнее покраснела.

— Значит, вы дружите?

— Ой, даже не знаю. Алеша ведь еще несерьезный. Вот пришел поболеть...

— Он не болеет, он просто мешает. И экзамены — не хоккей.

— Вы правильно говорите, Людмила Максимовна. Но Алеше не хватает серьезности... — Она опять потупила глазки и сильно заморгала своими густыми ресницами. «Неужели свои у нее, не приклеенные?». Она еще раз взглянула на Таню и глубоко-глубоко вздохнула. «Значит, и у этой тоже Алеша. Эх ты, Алеша, Алеша...» — повторила она несколько раз родное имя и стала слушать студентку. Голос у Тани был густой и наполненный. Такие голоса бывают только у людей очень здоровых, уверенных, да и материал она, кажется, знала. И скоро слова ее слились в один сплошной поток, густой и безудержный: на Таню нашло вдохновение. «Но осажу-ка, — подумала Людмила Максимовна. — Все-таки многое у нее не на тему. Я не позволю заговаривать зубы... А впрочем, бог с ней, жаль ее — такая красивая, статная, да еще влюблена. Но все равно!...».

— Инсарова, вы уклоняетесь в сторону. Прошу вас — зачитайте ваш первый вопрос. А если у вас плохо со зрением, то я за вас зачитаю.

— Нет, нет, я буду сейчас по билету. Только немного подумаю... — от-

кликнулась Таня, но сама и не думала останавливаться. Наоборот, ее голос усилился, и она еще быстрее полетела на своих горячих конях. И скоро все смешалось в этом ответе: и имена, и даты, и события... Все смешалось и спуталось в какой-то диковинный странный клубок, и он кружился, метался по аудитории: голос Тани достиг уже самых отчаянных, невысказанных нот, еще секунда, минута — и все, наверное, треснет, рассыплется... И Людмила Максимовна решила вмешаться:

— Инсарова, вы поэму «Демон» не знаете? Не читали со сцены? Припомните!

— Вы о чем? — Таня стала бледнеть.

— А о том, дорогая, о том. Я вам про картошку, а вы про горох. И еще таким громким выразительным голосом... Или вы издеваетесь?

В этот миг с диким шумом открылась дверь, как будто в нее ногой ударили, Людмила Максимовна чуть не задохнулась от возмущения, но что-то ее удержало, остановило... На пороге стоял высокий светловолосый парень, удивительно похожий на мужа. «Да они как близнецы... И тот, мой Алеша, и этот. Господи, да их же не различить!». Людмила Максимовна даже поднялась со стула, но волнение не проходило... А потом она разглядела, заметила, что парень держит букет сирени. Букет был огромный, живой, неохватный. Парень смотрел то на Людмилу Максимовну, то на Таню, и в его продолговатых синих глазах ходило веселье. А потом он шагнул прямо к столу и сказал твердым радостным голосом:

— Это вам муж послал. Все цветы. Все! — для чего-то повторил парень, и опять синей змейкой блеснули глаза.

— Да где же он сам-то? Где же? — возбужденно вопрошала Людмила Максимовна, но парень уже скрылся за дверью. И она посмотрела теперь на дверь в счастливом смятении, и все в ней сжималось в тугую пружинку и опять разжималось. «Значит, он сам не захотел, постеснялся... А запах-то! Даже голова кружится, не могу...». Она опускала лицо в цветы, потом опять смотрела на дверь, а душа все сильнее оживала и оживала. «Господи, зачем злилась на него целый день, зачем себя мучила... И эта анонимка проклятая. Но это же чепуха, чепуха, наговоры. Нет, надо жить на доверии». Она подошла к окну и вдруг распахнула его во всю ширь. С карниза сразу сорвались голуби. И хлопанье крыльев походило на выстрелы. «Да, надо жить, надо радоваться, ведь мы еще молоды, ведь мы еще сына родим с Алешей. Да, да, обязательно сына! — убеждала душа кого-то и рвалась вверх за чудесными птицами... Но как же он узнал, что я в этой аудитории?.. Ой, дура я, действительно дура! Да разве трудно? Зашел в деканат — и сказали. Ну конечно, там и сказали...». И ей захотелось смеяться, кружить на руках эту Таню-красавицу, а потом выбежать на улицу и расцеловать всех — любого прохожего, чтоб все знали, как ей хорошо, как она счастлива, а впереди у нее — еще много счастья, очень много...

— История повторяется. Танюша... Он уже приезжал однажды с цветами..

— Вы к билету?

— Нет, нет, продолжайте,— А я уж закончила.

— И чудесно. Вашу зачетку,

И еле-еле успела Таня захлопнуть дверь за собой, как загремело по коридору: «Девчонки, она мне «хорошо» в зачетку вкатила, а я ей всего намолочила. А ты, Алешка, у меня молодец! Как мы с цветами ее разыграли. Это, мол, вам от мужа — умора! Она сделалась прямо пунцовая. Как невеста сделалась. Ха-ха-ха!».

Но Людмила Максимовна уже не слышала этих слов: мешали толстые стены и большая плотная дверь. Да и сердце собственное мешало: оно стучало сильно, глухими толчками, и Людмила Максимовна даже боялась, что может упасть. «А он, значит, сам не зашел, решил сделать сюрприз. Вот оно как бывает, вот оно как...». Она снова стала смотреть за птицами. Потом, вспомнив что-то, повернула голову. Перед столом сидела уже другая студентка.

—Вы готовы? Только вначале зачитайте вслух все вопросы билета.

—Да, да... — залепетала та своим тоненьким прерывающимся голоском. И этот голосок напомнил какую-то птичку. Как порхает та с ветки на ветку и всего боится и прячет себя — и от соседской кошки, и от мальчишки-озорника, и от всякой случайности, которую никогда не предвидишь...

—Вы не волнуйтесь, отвечайте спокойно, не торопясь. У нас много, времени. И вы напрягите свою память, а потом уж не страшно.— Людмила Максимовна подошла к девушке близко-близко и положила ей ладонь на плечо. Это вышло как-то помимо ее воли,— и сразу под ладонью раскалилось плечо. «Ну зачем же студентка так волнуется, так терзает себя?». И она снова стала ее утешать: — К тому же я учитываю все ответы на семинарских занятиях. А вы всегда у меня готовились, тянули руку, ведь правда?

— Правда, правда...— залепетала студентка и сжала свои узкие плечики.

— Да вы не волнуйтесь. Сколько еще будет на вашем веку этих экзаменов, не перечесать....— Людмила Максимовна улыбнулась. Ее теперь уже ничто не сердило. В конце концов, студенты не обязаны знать предмет так же, как преподаватель. Конечно, не обязаны... И эта простая и наивная мысль совсем успокоила ее. Уже не хотелось, чтобы экзамен скорей закончился, и она опять окунулась с головой в цветы.



Иван Павлович Яган

И.П. Яган родился 30 сентября 1934 года в деревне Байдановка Таврического района Омской области в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал мальчишкой в годы войны. С 1948 года жил в Омске, работал землекопом, кочегаром. В 1952 году оказался в Молдавии, где работал на консервном заводе, матросом на речном теплоходе. С 1954 по 1958 годы служил на Черноморском флоте, рулевым крейсера «Керчь» («Эмануил Феллиберти»).

Стихи стал писать рано, с 13-14 лет. Первая публикация состоялась в 1949 году в омской молодёжной газете «Молодой сибиряк». Первая книжка стихов «Матросская лирика» вышла в 1959 году в издательстве «Молодь» (г. Киев). После службы вернулся в Омск и работал литсотрудником, редактором заводских газет, литконсультантом в Омской писательской организации. В 1965 г. окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. М. Горького.

В Курган переехал в 1974 году, работал в областной газете, в октябре этого же года был избран ответственным секретарем областной писательской организацией. В Москве, Омске, Новосибирске, Свердловске, Челябинске вышло более 20 книг Ивана Ягана. Неоднократно был делегатом съездов Союзов писателей СССР и Союза писателей России, избирался в их руководящие органы. Сейчас – секретарь Правления Союза писателей России.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1984 г.), лауреат премии Союза журналистов СССР (1968 г.), журнала «Аврора», премии Губернатора Курганской области и премии «Признание» (г. Курган). Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне». В 2005 году награжден медалью «К 100-летию М. А. Шолохова».

В 2007 году в Кургане издана книга Ивана Ягана «Многоликая и самобытная (Заметки о литературе Зауралья)».

В Союзе писателей СССР состоит с 1966 года. В 2008 году, после 30 лет руководства областной писательской организацией, передал пост ответственного секретаря Филимонову Владимиру Ивановичу.

К МОРЮ

Я заветной иду стороною,
Там, где море простором манит,
Там, где ветер в обнимку с волною
Налетает на древний гранит.

Там иду, где знаком каждый камень,

Где прибой богатырский могуч.
В небе месяц уперся рогами
В золотую громадину туч...

Море! Вспомним под гул твой и плеск твой
Нашу дружбу от первого дня.
Я тебя понимал с полуплеска,
Как и ты с полуслова меня.

Ты терзало меня и ласкало,
Без тебя б мир был скучен и тих,
Мне бы ветры на стонущих фалах
Не сыграли мелодий таких.

Памяти Виктора Петровича Астафьева

ШТАНЫ

Был у нас мешок из парусины,
Грубый, прочный, небольшой цены.
Что в мешке том только не носили –
Он остался целым до войны.
А потом, когда идти мне в школу –
В первый год ученья моего, –
Бабушка мешок тот распорола,
Мать штаны мне сшила из него.
В черный цвет покрасила их густо,
Покатала крепко под рублем.
Ах, с каким необъяснимым чувством
Те штаны я надевал потом!
Потому ли радость захлестнула,
Что я мало видывал обнов.
Мать молчала.
Бабушка вздохнула
И сказала:
– Все ж не без штанов...
Ой, как долго-долго вы носились! –
Жесткие, как жесь.
Не из сукна...
Были сшиты мне они на вырост –
Я и, правда, вырос в тех штанах.
А уж сколько было в них достоинств:
Мну кусты, как мягкую траву,
Бегаю, ничуть не беспокоясь,
Что задену где-то и порву.
А когда настынут –

Звонче снега
Заскрипят, зачухкают они.
Узнавал я часто скорость бега
По сухому шарканью штанин.
А бывало, если в дождь намокнут
Или мать возьмет их постирать,
Видел я: штаны и сами могут
Без поддержки на полу стоять...
Когда отец вернулся из похода,
Привез костюм из дальней стороны,
Мне, помню, было как-то неохота
Снимать свои короткие штаны.
А я снимал их сиротам на зависть.
Отец смотрел и утирал глаза...
Жаль, не сумел на память их оставить,
А то б я их сегодня показал!

Виктору Потанину

ЗНОЙ

Зной молчалив, недвижим и безбрежен.
Ни марева, ни тучки на пути.
И далеко упрятана надежда –
Куда корням уже не дорасти.
Земля горит, черна и безъязыка,
Озера высыхают, как глаза.
Зной неприступен.
И ломает пики
Откуда-то пришедшая гроза.
Спрессован зной.
Он властвует надменно.
И сквозь него почти что наугад –
Наискосок в сухие копны сена
Молнии отчаянно летят.
Но нет огня.
Предпламеньем дрожащим
Напряжены и воздух, и колки.
Готовы вспыхнуть высохшие чащи
От прикосновения руки.
Но ни дохнуть, ни шевельнуть рукою.
И только мысль в тебе еще жива,
И только пересохшею травую
Еще шуршат какие-то слова...

Василию Юровских

В СТЕПИ

У нас в степи светло и чисто:
Был пал. Теперь трава взошла...
Вот суслик сусличихе свистнул:
Пора, мол, в нору, есть дела!
Над ширью синей и покатою
Чист жавороночка звонок.
А перепёлки, как гранаты,
Взрываются у самых ног.
Восходит солнце.
Оттого-то перепела навеселе.
Идёт великая работа
И под землёй и на земле.
Здесь всех работа обуяла,
Одна заботушка в чести –
Цвести во что бы то ни стало
И обязательно расти.
И ты идёшь легко, открыто,
Идёшь, о чуде не трубя,
Лишь вспоминаешь, что забыто,
И забываешь сам себя.



Валентина Павловна Федорова

В.П. Федорова родилась 26 мая 1935 года в Зиянчуринском районе Оренбургской области. Отец – Зайцев Павел Евдокимович – погиб в 1941 году на фронте; мать – Евдокия Семеновна. С 1953 по 1958 год училась на филологическом факультете Уральского государственного университета. После его окончания по специальности «Учитель русского языка и литературы» приехала в Курган. С 1967 года работает в КГПИ, а затем в КГУ – ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, зав. кафедрой литературы. Именно В.П. Федорова открыла старообрядческий регион в Зауралье, его народную культуру. Ею собраны уникальный фольклорный фонд и коллекции декоративно-прикладного искусства края. Валентина Павловна талантливый ученый, ею опубликовано около 150 научных работ, в том числе 14 книг, в которых раскрывается своеобразие философии, этики, культуры местных старообрядцев.

Валентина Павловна – внимательный, мудрый, доброжелательный человек. Она тонкий наблюдатель и замечательный психолог. Эти способности особенно ярко проявляются в художественных произведениях, написанных ею, к примеру, в цикле рассказов «Кошки и люди». Автор с любовью и добрым юмором описывает повадки кошек, за которыми видит и видит человеческие характеры и поступки и дает им оценку. Вместе с автором произведений мы наблюдаем за жизнью, останавливаемся на тех моментах, которые часто проходим и не замечаем.

Для произведений В.П. Федоровой характерен яркий, сочный, колоритный язык. Автор мастерски владеет народной речью, порою кажется, что с тобою разговаривает сама жизнь.

КОШКИ И ЛЮДИ

Не люблю кошек за своеобразие. Не любить-то не люблю, но часто взглядываю. Иногда в их поступках острее видишь людские повадки. Кто у кого перенял важные законы жизни: мы у них или они у нас? Наверное, весь животный мир наделен общими глобальными инстинктами рода, бытия. Во всяком случае, кошки ведут себя так, как будто зеркало перед нами ставят. Смотришь на них – видишь себя. И горе по-нашенски, и хитрость по-нашенски, и чувства узнаваемы, и настроение понятно. Им еще бы нашу речь: вот бы поговорили!

ПРОНЕЖИЛАСЬ

Занежилась мать. Солнышко, теплынь, лето. Сладко дремлет, молочко освободила для единственного крохотного ребеночка. Сама собой пришла древняя колыбельная песенка, под которую и сама в детстве так сладко уходила в истому и покой: «Му-ур, му-ур, му-ур». Хорошо в этом мире. Дитенок сладко причмокивал, посасывая молочко. В истоме обнесло голову, задремала, вытянувшись у бревна. Сняла лапу с котенка. И вдруг резко вскрикнул малыш.

Не сразу поняла, что случилось. По отчаянному писку увидела беду: ребенка уносила ворона. Поздно: не допрыгнуть, не отнять. Застыла от горя, только молоко било в голову. Если бы могла закричать, завывать, забиться в крике. Да хоть бы пожаловаться! Хозяйка корила себя: «Как же я проворонила ворону, ведь не видно было. Надо же, зоркий сокол, высмотрела добычу, сатанюга. Да и ты хороша», – попеняла кошке. – «Разнежилась, разлеглась. За дитенком смотреть надо, глаз да глаз. Ну, иди, моя горькая, пожалею». Гладила ручкой дрожавшую Мусю и выговарила умную науку матерей: «Мало кормить и ласкать. Говорю тебе: стеречь дитенков надо. Жизнь есть жизнь: не только теплынь, но и горькая полынь». Мудро, что и говорить.

ГОРЕ

Оно билось внутри и выходило надрывным, каким-то утробным воем-жалобой: «Ы-Ы-Ы!». Это Мурзик оплакивал утрату. Первый раз за свою короткую котеночную жизнь добыл еду: поймал средней величины лягушку. Долго пытался поймать, но она упрыгивала, ускользала, как сквозь землю проваливалась. Поймал, однако! Довольный жизнью принес поближе к дверям дома на дорожку: глядите, хозяева, цените охотника! Немного поиграл с ней, подбрасывая вверх уже недышавшую добычу. Но кайфа от игры охотника не получалось: лягушка не убегала, а падала, когда кошачья лапа подбрасывала ее вверх. Азарт охотника пропал, только напрасно тратились силы.

Наступил черед еде. Ну, не в один же присест съест все! Оно, конечно, можно и все, но продлить удовольствие надо. Главное – оставить добычу без головы: наверняка не упрыгает. Облизав рот и лапы, пошел лежать в холодке дома, пусть жирок завяжется, а лягушка никуда не денется, полежит.

Между тем приближалась беда: в дом шел хозяин. Он-то и увидел почти у дверей безголовую лягушку. Решил, что Мурзику еда не в радость пошла, и отнес ее в бочку со всяким мусором. Котикова добыча провалилась между веток и прочегохлама.

Мурзик выспался и прыжками бросился к оставленной на потом еде. Увы, ее не было. Как убежала она без головы? Не понятно. Остался один запах на дорожке. Охотник понюхал там, там, там, там. Нет. Только на одном клочке дорожки держалась и дразнилась запахом приметка недавней удачной охоты. Но запахом сыт не будешь. Да и не в еде как таковой дело. Дело в том, что повел себя как распоследний лох: оставил свою добычу на виду, не спрятал. Желających ее прибрать много: ходят люди, бегают лохматый и жадный на еду Дин, кружат вороны, грачи, сороки. Вон сколько, а ты, простодырый простофиля, спать пошел. Так горько, так обидно: умыкнули и радость и сладость, пригнули голову. Сидел кошачий подросток на трех лапах и хвосте, упираясь в твердь дорожки. Передней правой лапой придерживал голову, не давая ей упасть: «Ы-ы, Ы-ы, Ы-ы». «Вот, милый, – взял его на руки хозяин. – Ничего не оставляй без присмотра. Видишь, сколько в наш век охотников до чужого. Мигом сопрут. Так что оглядывайся немного. А то, гляди-ко, наелся и на бок. Так нельзя».

РЕВНОСТЬ

Мурзика очень любила мать. Он уже превратился в вальяжного большого красавца котяру, ловил в округе мышей и птиц, а она ему нет-нет да принесет что-нибудь из леса: то птичку, то норушку. Привык ходить в любимцах, благо больше никого нет. И вдруг дом наполнился тоненьким назойливым писком: требовали постоянного присутствия матери три черных пушистых комочка. Расположились они в семейной родовой кошачьей коробке. Там и Мурзик вырос. Теперь у него другое место, в коробку давно не умещался. После трехдневной весенней отлучки, весь еще в романтическом мире, кот остановился, изумленный. Кто же залез в

родное гнездо? Но не двинулся, просто стоял и слушал, только хвост отряхивал и вопросительно взглядывал на хозяйку. Она его тоже любила.

– Ну, пойдём знакомится с новой родней.

Взяла его за переднюю лапку и подвела к коробке. А там... Зрелище не для слабонервных. Без ушедшей на короткое время матери они тыкались слепыми мордами друг в друга. Голова и шея слились в одну линию, как у змеи. Красавец остолбенел и, вырвавшись из руки хозяйки, выскочил из дома, подальше от коробки. На бегу столкнулся с матерью, но не остановился. Надо же, какие уроды! И в его доме, в его коробке. Обида нахлынула:

– Эх, на кого же меня променяли!

И гордо ушел в себя, показывая, как он обиделся. Ушел. Приходил домой, наскоро перекусывая, и уходил прочь со двора. С месяц помаялся, а там наступили другие дела, другие отношения. Жизнь обидой не склеишь, жить все равно надо. Где-то приглядеться, где-то притерпеться.

МУРЗИК-НЯНЬКА

Коробка пустела, красивых черных пушистых котят разбирали. Остался один – самый маленький. Черная шерсть пробивалась проседью. Нет, не охотник, не душе отрада. Зато всех любил, лез ко всем со знакомством. Серьезному хозяину двора, Дину, позволял себя обнюхивать и даже старался лапкой задеть собачью лапу. К гостям лез на руки, пел громко свои песни. Он любил весь мир, и хотел, чтобы его любили. Однако красавец Мурзик в упор не видел уродца. Их отделяли два поколения, они были сыновьями Муськи, старший и младший. Старший держал дистанцию, не желая общаться с молодым жизнерадостным нахалом. Чувство собственного достоинства не позволяло Мурзику опуститься до банальной ссоры с малышом. А тот лез, напоминая о родстве. Приходилось брезгливо отряхивать лапы и уходить подальше: «Глаза бы мои тебя не видели». Бедняжка бежал чаще всего к матери, жаловался, а заодно и кормился. Но мать стала тоже исчезать – даже на целый день. Люди людьми, а свой своему поневоле брат. Понял: надо прибиваться к старшему. Это и подстегнуло. Однажды с трудом карабкаясь, котик поднялся на табурет, занятый Мурзиком. Солнце грело его сквозь окно, лень было слезать с теплого места. Котик пробрался к животу и задышал радостно в шерсть старшего. Что-то екнуло в душе кота, он кружком из своего тела окружил младшего и ... запел! Теперь они спали вместе, чаще всего на диване.

Муська обрадовалась дружбе своих детей. Она поняла, что есть нянька и стала больше уделять внимания себе. Уже не слышали ее заботливого и предупредительного мурлыкания, все переложила на сына. Младшего перестала кормить своим молочком. А он и не унывал, ел со старшим все, что давали.

Муську домашние стыдили. Она, всегда заботливая мать, жила сама по себе, забыв о детях. Правда, у них у всех были общие чашки: для молока и варева. Только стол и связывал кошку с детьми. Вот и получается: нельзя все заботы забирать у матери. Это серый, полюбив брата, раньше времени лишил его материнской ласки. Да и молока тоже.



Алексей Анатольевич Захаров

Родился 30 июля 1971 года в городе Кургане. В 1993 году закончил Курганский машиностроительный институт. Работал инженером-механиком, менеджером, журналистом газеты «Курган и курганцы».

Прозу начал писать в 2002 году. Принимал участие в форумах молодых писателей, проходивших в Красноярске (2005) и в Москве (2005-2007). По итогам форума молодых писателей России 2006 года в Москве стал стипендиатом Федерального агентства по культуре и кинематографии.

Публиковался в журналах «Москва», «Литературный Башкортостан», «Тобол», в коллективных сборниках. В 2008 году вышла в свет его первая книга «Ловцы звезд». Рассказ «Родина и Кадет» был напечатан в русскоязычном журнале «Флорида» (США).

В Союз писателей России принят в 2009 году.

ФАНТОМНАЯ БОЛЬ

Старик долго смотрел в окно, после перевел глаза на старомодное пожелтевшее радио, из которого доносился слегка дребезжащий голос диктора, несколько минут внимательно прислушивался к тому, о чем тот говорил и опять взглянул на улицу.

За окном его тесной однокомнатной квартиры, находившейся на первом этаже серой кирпичной хрущевки, было солнечно. Заканчивался сентябрь, но день выдался очень спокойный и теплый, почти летний. Время уже перевалило за полдень, солнце забралось высоко и светило где-то там, в малооблачном небе над горбатой крышей пятиэтажки, бросая в комнату сквозь пыльное стекло косые лучи. Они ложились на противоположную стену и край незастеленного старого обеденного стола, приставленного к ней, ярко освещая на его коричневой поверхности причудливый рисунок, образованный расчертившими помутневший лак трещинками. На середине крышки стола черным бугристым ландшафтом, напоминая своей вытянутой формой горный хребет на карте, темнело большое выжженное пятно. Старик кашлянул и подслеповато прищурился, стараясь лучше рассмотреть застарелый очаг несостоявшегося пожара.

«Когда же это случилось? – подумал он, напрягая ставшую изменчивой память. – Кажется, лет тринадцать-четырнадцать назад? Да, наверно, все-таки в девяносто первом году, – согласился он сам с собою. – Моя Антонина еще живая была. Это она в тот раз оставила на столе не выключенным из розетки утюг, пошла зачем-то к соседке и на лестничной площадке разболталась с нею. Хорошо еще, что их пустой бабий треп затянулся ненадолго. Лакированное покрытие не успело заняться огнем, а лишь вспучилось и сделалось по цвету угольным, да еще дыма в тот раз нагнало – не продохнуть. Потом Антонина раскрыла все форточки настежь и, сетуя на себя, хлопала руками по бедрам.

Хоть она и проветрила затем квартиру, все равно горьковатый запах горелого лака вьелся в вещи и стены комнаты на несколько дней».

«Да точно в девяносто первом году, – сказал про себя старик, в задумчивости проведя сухой, изломанной артритом ладонью по небритой щеке». Через год Антонину схоронили, и он остался один. «Все верно», – кивнул он головой сам себе, рассматривая давно не крашенные, облупившиеся половицы посреди комнаты. Еще в тот год, когда появилось это пятно, перестала существовать держава, за которую он так отчаянно бился в середине века.

Старик в очередной раз посмотрел на прожженную столешницу. На следующий день Антонина застелила стол новой скатертью. Теперь этой скатерти давно нет. Он даже и не помнил, куда она подевалась. Может дочь забрала?

В этом месте воспоминаний его мысли споткнулись, потому, как о дочери старику думать не хотелось. Зловредная и себялюбивая бабенка. Шестой десяток давно идет, а жизнь ее так ничему и не научила. В кого она такая? Антонина ведь совсем другою была. Добрая и заботливая. Тоня всегда жила только для него и дочери. Нужно было еще и сына им с матерью родить, да Антонина и одного-то ребеночка едва в себе сохранила. Вся испростывшая, она долго болела в голодное послевоенное время, и, наконец, через шесть лет замужества, после двух выкидышей, ее ослабленный организм пусть и с большим трудом, все ж сумел совладать с долгожданной беременностью и выносить дитя. Сколько радости было. Тоня светилась вся, лучилась материнским счастьем. Дочка родилась хиленькой, крохотной – аккурат вместо люльки в шапку клади, – и вся накопленная многие годы невыпростанная материнская любовь Антонины сошлась только на ней. А он и ничего, и не обижался, не бухтел, обделенный женным вниманием, видел во вновь оживших Тониных глазах искорки счастья и понимал: ребенок для женщины – самое наиглавнейшее.

«Кто знает, может, если бы в семье еще одно дите было, дочь выросла бы другой? – печально подумал старик, машинально поглаживая рукой затертую обивку продавленного дивана».

Внезапно он почувствовал, как у него сильно заболело левое колено, ногу заломило и стало нудно тянуть сухожилия и мышцы. Нарастая, боль быстро поднялась вверх по бедру. Вначале старик хотел поправить ногу и уже переминаясь, собрался было устроиться поудобней, выбрав иное положение, но в следующее мгновение после этой бестолковой мысли, так скоро и глупо пришедшей ему на ум, он горько усмехнулся и взглянул на жалкий бледный огрызок, оставшийся от его левой ноги. От нижней конечности уцелела лишь половина бедра. Белая дряблая кожа с синими прожилками тонких сосудов конусообразно сходилась под костью в уродливый морщинистый узел. Временами узел надоедливо чесался. В таких случаях старик снимал с культи чехол, сшитый из мягкой фланелевой ткани, и долго скреб шрам фиолетовыми ногтями. Но иногда, как сегодня, его терзали изнуряющие фантомные боли. Тогда колено настырно ломило, и судорога протягивала свои холодные щупальца к давно несуществующей ступне.

Обычно фантомные боли приходили перед дождем и назревающей непогодой, и он начинал чувствовать ампутированную несколько десятилетий назад

конечность, словно она до сих пор являлась частью его тела, а не была в сорок третьем году отпилена не по возрасту угрюмым молодым хирургом, с воспаленными от усталости глазами, и не сгорела в топке военного госпиталя. В эти дни культя коченела и становилась ледяной, кровь застывала в жилах, почти прекращая свой беспрестанный животворящий бег. Как бы он ни силился кутать обрубок в теплый простеженный чехол, ничего не помогало. Боль то появлялась, то становилась почти незаметной, но культя все равно продолжала отчаянно мерзнуть. Теперь же солнечная погода стояла за окном уже несколько дней, город посетило скоротечное бабье лето, однако, несмотря на это обстоятельство, злая боль все одно вернулась к нему.

Старик измученно прикрыл веки, стараясь отвлечься от изводящих тело приступов. «Осень, – подумал он, – потому и грызет».

Старик снова открыл глаза и посмотрел на убогий остаток ноги, потом дотянулся рукою до спинки стула, стоявшего рядом с диваном, и снял с нее старые рабочие брюки, у которых левая штанина была обрезана под размер обрубка и наглухо застрочена на машинке. На деревянном сиденье стула остался лежать чехол для культы. Старик взял и его, надел на бедро, старательно обвязал пришитыми к чехлу матерчатыми тесемками и затянул узел петель. Затем он некоторое время возился с брюками.

Прежде, когда был моложе, он легко справлялся с этой процедурой. Продавал правую ногу в штанину, вставал на ступню и, сохраняя равновесие, застегивал пуговицы на поясе. Теперь же у него не хватало сил. Нога дрожала и предательски подгибалась от слабости, а голову до дурноты кружило от напряжения, поэтому он приноровился одеваться, сидя на диване – просовывал ногу в штанину и, неуклюже переваливаясь с боку на бок, точно неловкий тюлень на скользком льду, с трудом натягивал на себя брюки. Как-то несколько недель назад, елозя подобным образом по дивану, он не удержался и свалился с покатого сиденья на пол. Серьезная промашка вышла. Хорошо еще, что ничего себе в тот раз не переломал...

Старик, наконец, совладал с последней пуговицей на брюках и облегченно передохнул. В груди давило и противно мутило. Отдышавшись, он наклонился, поднял костыли, что лежали на полу вдоль дивана и, опираясь на них одной рукою, а другой о мягкую боковину, встал. Со стуком передвигая костыли, он добрался до малюсенькой кухоньки, тяжело опустился на табурет – втиснувшись между газовой плитой и столом, – привалил «алюминиевые ноги» к другому табурету и оперся локтем о деревянный подоконник. Затем он вынул из кармана штанов полупустую красно-черную пачку «Примы» и поискал вокруг глазами. Короткий деревянный мундштук с обгорелым кончиком нашелся неподалеку, на противоположном краю стола, рядом с засаленной банкой из-под индийского кофе. Последние пару лет эта банка служила ему вместо пепельницы, а когда-то, теперь уже очень давно, Антонина складывала в нее разнокалиберные пуговицы.

«Антонина, Тоня...» – одновременно с теплотой и сжавшей стальными тисками сердце тоскою подумал старик.

Он порылся пальцами в пачке, выудил из нее измятую сигарету и аккуратно переломил ее пополам. Одну половинку он убрал обратно в картонку, а второй обломыш вставил в мундштук. Спрятав пачку в карман, старик прикурил. После первой неглубокой затяжки, он выдохнул едва приметную струйку дыма и на время забыл о куреве. Он сидел, разглядывал редких прохожих за окном, мелькавших за жидким кустом сирени, и старался отвлечься от тревожащих душу воспоминаний <...>.

Боль опять сжала его левую ногу и мышцы заоченели. Колено сильно заломило. Старик сморщился и замер. Он подождал, когда стихнет и, стараясь не обжечься, с шумом отхлебнул из чашки едва подслащенный чай. Так сильно нога у него давно не болела. Он даже и не помнил, когда такие изматывающие боли случались у него в последний раз. Наверное, в госпитале, перед третьей операцией. Или перед первой? Старик задумчиво погладил узловатыми пальцами замытую голубенькую клеенку на столе и задержал на ней стылый взгляд. Можно конечно было принять таблетку, попробовав усмирить боль, но он не надеялся на лекарство, знал, вряд ли поможет, ведь он проверял уже, и не один раз.

Так он просидел еще какое-то время, не замечая ничего вокруг. Вдруг вспомнил про налитый, уже остывший чай и неспешными глотками допил его. Потом он сунул в карман брюк мундштук вместе с не вынутым из него крошащимся окурком, положил туда же коробок со спичками, тяжело поднялся и, опираясь на костыли, проковылял в сумрачную прихожую. Там он снял с крючка старый, потерявший форму пиджак – к лацкану которого был приколот прямоугольник наградных колодок, а рукава на локтях лоснились грязными пятнами, – накинул его поверх клетчатой байковой рубахи, обул ногу в войлочную чуню на резиновой подошве, отпер дверь и ступил на лестничную площадку.

Улица встретила его ослепительным солнечным светом. Он невольно остановился и, прикрыв глаза, замер. Бетонная плита под ногой ушла в сторону, качнулась, и голову обнесло туманом. Старик дождался, когда болезненный приступ пройдет и, осторожно переставляя костыли, начал медленно спускаться с высокого крыльца.

Он не часто выходил на улицу. Последний год это стало происходить все реже и реже. И если даже он покидал квартиру, с желанием посидеть на одинокой скамейке среди деревьев неподалеку от подъезда, то старался совершать это в дни, которые не совпадали с посещениями работника социальной службы. Сегодня к старику как раз должны были придти, но он все равно решил покинуть свое сиротливое жилище. День выдался очень погожий, безветренный и веселый, несмотря на уже обозначившийся уход тепла. Старик понимал мимолетность солнечных дней, также как хорошо понимал, что возможно ласковые сентябрьские дни могут стать последними теплыми днями в его жизни, ведь до весны еще нужно было дожить, пересилить зиму. Вот по этой причине он и решил погреться на солнышке, да еще надеялся отвлечься от приставшей липким репьем, никак не дававшей покоя, нудной боли.

Спустившись по сбитым ступеням, старик присел на край бетонного блока – давно вывернутого из земли рабочими и так и брошенного на краю газона, –

прислонил к нему «ходули» и, сощурившись, посмотрел слезящимися глазами в просвет между соседними зданиями.

«А может, так сильно болело сразу же после ранения?» – опять вернулся он думами к тому, что не отпускало. – «Нет, сейчас наверняка болит тише, иначе бы я не выдержал», – возразил он сам себе. – «В сорок третьем я был молодой и здоровый, с неудержимой тягой жить, потому и уцелел».

Старик сунул руку в карман и вынул мундштук. Поправив пальцами обломыш сигареты, он поджег его, кашлянул в ладонь, склонил коротко остриженную седую голову и принялся рассматривать грязный асфальт перед бетонным блоком.

«В точно такой же теплый день сорок третьего года я был молод», – эхом повторилась в его мозгу последняя мысль. – «Только тогда было лето, а не осень...»

...В сорок третьем году старик был двадцатилетним сержантом Медведевым. В один из ясных августовских дней пуля из немецкого MG-42 безнадежно разворотила ему ногу под левым коленом. Он и старшина Касымов – узбек по национальности, – пробирались по разбитым улицам пригорода Харькова, возвращаясь из разведки и неожиданно попали под обстрел неприятельского сектора, который засел в цокольном этаже почти разрушенного артиллерийскими снарядами дома.

Пулемет ударил где-то слева, совсем близко, длинной раскатистой очередью. Среди образовавшегося продолжительного затишья его рывканье показалось им нереальным и совсем чуждым. Пулемет зло выплюнул в них стаю остервенелых пуль, которые, посшибав по пути высокие стебли мальвы, разнесли в пыль соседний кирпичный угол. Удивительно, но первые выстрелы не причинили ему и Касымову никакого вреда. Немецкий стрелок видно не отличался особой меткостью. Разом пригнувшись, они втянули головы в плечи и метнулись к пустому оконному проему ближайшего здания. Вслед за первой очередью сразу же грохнула вторая. Вот после нее в каждого из них и угодило по пуле. Одна тут же убила старшину – вошла сзади, в наголо обритый загорелый затылок узбека, снеся Касымову верхнюю часть лица, – а другая – досталась ему.

На последней секунде сознания он успел ввалиться в полупустое помещение и тут же потерялся в беспамятной мгле. Когда через неопределенное время он пришел в себя, то первое, что увидел – своего мертвого друга, Ибрата. Труп повис поперек низкого оконного проема, обращенный лицом вверх. Поднимающееся летнее солнце ярко освещало убитого. Его лучи без стеснения скользили по линиям гимнастерки, играли на эмали неестественно оголенных зубов, гранях серебряной солдатской медали, и, проникая внутрь здания, освещали треть большой комнаты, в которую он запрыгнул. Солнце совершенно обыденно и отстраненно воспринимало факт смерти человека. Происходившее на земле никак не волновало его. Оно с одинаковой силой и щедростью светило и для немецкого пулеметчика, и для мертвого старшины.

Касымов не успел добежать до спасительного укрытия всего шаг. Одна половина тела находилась внутри, другая снаружи. Руки Ибрата безвольно свисали к полу, пальцы касались осколков ломаного красного кирпича и мелких сте-

кол. На пыльных досках, под головой старшины образовалась желеобразная кроваво-грязная масса. От лица постоянно улыбающегося тридцатилетнего узбека сохранились лишь приоткрытые губы и подбородок...

Медведев отвел от убитого товарища взгляд и посмотрел на свою изуродованную ногу. Пуля прошла навывлет, но он догадался, что кость все же задета. Штанина напиталась кровью и сделалась черной. Под сапогом образовалась небольшая лужица. «Видимо в сапоге тоже кровь», – расплывчато думал он.

Несмотря на тяжесть ранения, ему все же здорово повезло. Чудо, но ни один крупный кровеносный сосуд не был поврежден выстрелом, лишь только поэтому он не истек кровью, пока лежал без сознания, и не умер <...>.

Мучаясь жаждой, он держался сколько мог. Потом стиснул левой рукой ППШ и на правом боку, пересиливая боль, выполз из комнаты через высокие двустворчатые двери. Осмотрелся в длинном полутемном коридоре и, выбрав наугад направление, пополз, в надежде отыскать воду. Уже в соседней комнате он к своей радости обнаружил две тонкие трубы. Они выходили из подвала, затем тянулись вдоль пола и через несколько метров исчезали в кладке простенка. Опять выбравшись из комнаты в коридор, он стал разыскивать вход в следующее помещение.

Через несколько метров, в полусумраке прохода, он различил пустой проем с сорванной дверью и тут, в этот момент, вдруг услышал отчетливый стук печатной машинки. Стук был сбивчивый, неумелый, с различными интервалами между неуверенными тычками. Иной раз удары клавиш следовали торопливой сухой дробью, иногда прерывались на несколько секунд, а иногда человек, работавший на машинке, видимо, отыскав нужную букву, совершал одиночное нажатие, и вновь наступала длительная пауза.

Он положил палец на спусковой крючок и, внутренне сжавшись, стараясь не шуметь, начал красться к комнате, из которой доносился настороживший его звук. Добравшись до дверного проема, он осторожно высунул голову и заглянул внутрь.

Помещение оказалось меньше того, где он просидел целый день. В комнате было два больших окна с вынесенными стеклами. В двух метрах от правой стены располагался массивный письменный стол, затянутый темно-синим сукном. Другой, точно такой же, был опрокинут набок посреди комнаты. Возле левой стены горой лежали поломанные стулья. Рядом с опрокинутым столом на голых досках пола, вполоборота к дверному проему, на коленях сидела девушка, и увлечено стучала двумя пальцами по клавишам печатной машинки. На девушке было светлое летнее платье с круглым отложным воротником и демисезонные мужские полуботинки на босу ногу.

Продолжая быть незаметным для девушки, он еще раз цепко охватил глазами комнату и перевел взгляд на машинку, высокую и массивную, с круглыми клавишами-кнопками и с чудным не нашим названием – «Ундервуд». Лист в каретке отсутствовал, девушка просто забавлялась, набирая на каучуковом валике воображаемый текст. Рядом с машинкой валялись расколота стеклянная чернильница-непроливашка и пустая картонная папка для бумаг.

Он опустил ППШ и негромко, но строго потребовал:

– Перестань стучать.

От неожиданности плечи у девушки вздрогнули. Кисти застыли над клавишами машинки. Она резко повернула голову на его голос, и он увидел, как отчетливо на лице девушки отразился непреодолимый, охвативший все ее существо, ужас. В эту секунду он вдруг почувствовал себя виноватым за то, что явился причиной этого нечеловеческого страха и, силясь загладить свою невольную вину, он растянул губы в усталой, искаженной болью улыбке:

– Не стучи, пожалуйста, с улицы услышат, – как можно мягче, добавил он.

Взгляд девушки скользнул с ППШ на гимнастерку, перешел на пилотку, и только после этого ее лицо постепенно ожило. Он переложил оружие в левую руку и, опираясь на правый локоть, с трудом волоча искалеченную ногу, вполз в комнату. Привалившись спиной к стене, которая отделяла комнату от коридора, он спросил:

– Ты здесь одна?

– Одна, – чуть слышно ответила девушка, все еще продолжая с пугливой настороженностью вглядываться в его фигуру.

– А как очутилась в здании? – он пристроил раненую ногу ловчее и внимательно рассмотрел свою собеседницу.

На вид ей было лет шестнадцать–семнадцать. Невысокого роста, худенькая – аж светится вся насквозь, – прямые русые волосы были заплетены сзади в короткую тугую косу, тонкая шея смешно выглядывала из круглого воротника платья. Слегка вытянутое лицо с тонкими чертами, глаза темные, кажется карие, аккуратненький прямой нос и плотно сжатый упрямый рот – нижняя губа была чуть полнее верхней. Он молча изучал ее, а девушка, развернувшись к нему, продолжала сидеть на полу, сложив на коленях руки.

– Спряталась, – сдержанно, как-то по-детски ответила она. Она заметила его рану, и теперь все ее внимание было приковано к окровавленной штанине. – Вы ранены?

– Да, попали в ногу.

– Вам, наверное, очень больно? – она с искренним участием в лице посмотрела на него.

– Терпимо, если сидеть неподвижно и не шевелиться.

– А вы здесь с кем? – в свою очередь поинтересовалась она. – Разве вы здесь один?

– Один. Моего товарища утром убили. Слышала утром пулеметные выстрелы?

– Слышала, но побоялась выглядывать из окна. Я почти до самого обеда просидела вон в том углу, – призналась девушка, указав за стол с синим сукном.

– Ну и правильно сделала, что просидела. Только стучать на машинке зря принялась, немец все еще может быть где-нибудь рядом. Тебя звать-то как?

– Таня, – ответила девушка и тут же поспешно поправилась, – Татьяна.

Он едва заметно улыбнулся и снова спросил ее:

– А где родные-то твои, Татьяна? Почему одна? Почему не с домашними?

Мышцы у девушки затекли, прежде чем ответить на его вопрос она поерзала на месте, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую.

– Я с бабушкой жила, а месяц назад она умерла от почечной болезни, – сказала Таня, – а больше в городе у меня близких нет. Мы с бабушкой вдвоем жили.

Девушка привстала, высвободила из-под себя уставшие ноги и, опершись на руку, села на пол. Подогнув колени, она другой рукой тщательно расправила подол платья.

– Ты давно здесь прчешься? – поинтересовался он.

Его сильно знобило, он почувствовал, как на него в очередной раз взялась наваливаться слабость, перед глазами поплыло. Изо всех сил он старался не потерять непрочную нить, связывающую его с действительностью.

– С самого утра.

– А на машинке зачем печатать надумала?

– Чтобы отвлечься, – виновато улыбнулась Таня. – Мне надоело все время сидеть в углу. К тому же одной страшно, а тут в комнате нашлась старая машинка. Я сперва просто опускала пальцы на клавиши, не ударяя по ним, а после увлеклась и не заметила, как стала по-настоящему печатать. А потом вдруг вы появились...

– Что же ты такое печатала, что так сильно увлеклась, – он прикрыл на пару мгновений глаза, позволив себе чуть расслабиться. Он не услышал ответа, поэтому снова приоткрыл веки и посмотрел на девушку. Таня сидела, потупившись, и молчала.

– Секрет? – попробовал пошутить он. – Наверно, какому-нибудь молодому человеку письмо писала.

– Нет, маме, – едва различимо отозвалась девушка.

– Кому? – переспросил он, с напряжением вслушиваясь в ее голос.

– Я маме письмо писала, – опустив лицо, все также тихо проговорила Таня.

– Маме? – повторил за ней он. – Ты же говорила, что вы вдвоем с бабушкой жили.

– В самом начале войны мама пыталась добраться до нас из Ровно. Мы с нею в Ровно жили. А в Харьков я на каникулы к бабушке приехала. Но их поезд не пришел и больше мы..., то есть я о ней ничего не знаю.

– О чем же ты писала маме?

Странное дело, он понимал, что был старше этой девочки всего на три, ну может четыре года и, тем не менее, он сейчас ощущал себя в разговоре с ней очень взрослым и многоопытным человеком, из другого, более старшего поколения. Она обращалась к нему на «вы», а он, будто так и положено, называл ее на «ты». Внутренне он причислял себя в эту минуту к тому поколению людей, к которому относился старшина Касымов и большинство других тридцатисорокалетних солдат его роты, оставивших в родной стороне дома, хозяйство, жен и детей. Два года фронтов, военная форма и ППШ с ободранным прикладом заставляли его ощущать себя рядом с этой девочкой совершенно взрослым человеком. Сейчас в этой комнате он был главным, он отвечал за все. Два года они вместе с Ибратом Касымовым воевали ради вот таких вот девочек. Два года

он воевал ради двух своих сестер-подростков, которые остались в маленьком городке за Уралом. Да, целых два года...

– Обо всем, – просто ответила Таня и на этот раз смело и открыто взглянула ему в лицо. – Я разговаривала с ней, рассказывала, что с нами произошло за последнее время, написала, что нашей бабушки больше нет, что я осталась одна. Сообщила, как я по ней сильно–сильно скучаю и очень ее жду.

Девушка опять опустила лицо, пытаясь спрятать глаза, и ему показалось, что он заметил в них блеснувшие, едва сдерживаемые слезы. Он промолчал. Успокаивать и произносить пустые слова ему не хотелось. Ни к чему. Эта хрупкая девочка все понимала не хуже его.

Таня быстро и мужественно справилась с эмоциями, взглянула на его раненную ногу и предложила:

– Давайте я вам чем-нибудь помогу. Я умею перевязывать.

– Нет, не нужно, – он торопливо замотал головой. Казалось, даже одна мысль о том, чтобы потревожить рану вызывала в ноге стремительное ожесточение боли. – Кровотечение прекратилось, а больше пока ничего не сделать. Скажи-ка лучше, здесь вода где-нибудь поблизости есть? Мне пить сильно хочется.

– Да, есть, – ответила Таня. – Через комнату отсюда находится огромный чугунный титан, в нем сохранилось несколько ведер воды. Я пила из него утром. Правда вода пахнет железом, но для питья пригодна.

Он облегченно вздохнул, провел по губам шершавым языком и от этого ощутил еще большую жажду.

Девушка оперлась на руки, собираясь встать:

– Я принесу воды. Тут рядышком.

– Нет, подожди, – он приподнял руку, принудив ее задержаться. – Через минуту сходишь. Скажи лучше, тебе мама снится?

Девушка послушно опустилась на пол, снова старательно расправила подол платья на ногах и негромко ответила:

– Раньше, когда война только началась, часто снилась, а теперь стала реже. Видимо, я привыкла.

– Ты с ней разговариваешь во сне?

– Разговариваю, – кивнула Таня и доверчиво улыбнулась.

Он отвел взгляд и промолчал. У него сжалось в груди и тревожно защемило. Ему тоже захотелось поделиться с этой девочкой, что и он во сне видит мать, что он с нею всегда разговаривает, спрашивает про дом, про отца и сестер, про друзей. Но он не знал, как это сделать. С чего начать. Он совершенно разучился. Он утратил естественную способность доверять самое сокровенное другому человеку. В суровых военных буднях, в скупой на эмоции повседневной мужской атмосфере, он совершенно отвык от таких простых человеческих чувств. И сейчас возникшие в его душе понятные каждому человеку переживания, обрушившиеся на него захлестывающим бурным потоком, показались ему чем-то давно забытым, почти неестественным, навсегда оставленным в той, мирной, довоенной жизни. В той жизни, в которой он еще был совсем зеленым и неопытным, был беззаботным неунывающим пацаном. В той жизни он еще

многого не знал и не видел. До этой минуты он полагал, что ему уже больше никогда не стать прежним, что все отмерло и заглохло, и поэтому родившееся в нем чувство, позволившее ему вновь ощутить себя обычным человеком, не солдатом, одновременно вызвало в нем и смятение и радость. С одной стороны, он почему-то стеснялся того, что происходило с ним. Что подумает о нем эта девчонка, ведь он для нее взрослый? Война приучила его быть сдержанным. Почти равнодушным. Каждый день смерть проходила рядом с ним, и он видел, как она опрокидывала и забирала с собой тех, с кем он еще утром разговаривал, курил и обменивался шутками. Вот и сегодня днем, когда он очнувшись смотрел на убитого Ибрата, он почти не испытывал никаких особенных шевелений в душе. Глядя на разбитое пулей лицо друга, он лишь думал об оставшейся во фляжке воде и карманных часах. И ни о чем больше. Смерть человека сделалась для него будничным делом. Но, с другой стороны, ему все же неудержимо хотелось поделиться своей душевной тоской с Таней. Ведь этой жгучей, томящей тоски накопилось в его сердце за два последних бесконечно долгих года так много, что больше не было сил удерживать ее внутри себя. Все это время он старался не замечать ее, а если и замечал, загонял все дальше и дальше, вглубь. Так ему было легче выживать здесь на войне, день за днем.

Он неуверенно глянул на девчонку прищуренными глазами. Он искал в ее лице помощи. Кажется, вот-вот и признается, расскажет ей обо всем. Но в последнюю секунду все же не смог. Война сломала в его душе что-то очень важное, живое, необходимое. Он неожиданно ясно осознал перемены, произошедшие с ним, и от этого понимания у него внутри стало пусто и ледяно.

Он опустил глаза и глухо сказал, стараясь сохранять интонацию голоса ровной:

– Так ты говоришь, что вода где-то поблизости, и ты сможешь ее принести?

– Да, совсем рядом, – с готовностью ответила Таня и легко вскочила на ноги.

«Вроде бы ничего не заметила», – с надеждой подумал он.

– Я быстренько, – сказала она, засветившись лицом оттого, что может оказаться хоть чем-то полезной, и протянула руку, чтобы взять фляжку.

Он подал ей ее. Девушка несколько секунд стояла молча, не решаясь сказать, но потом все же спросила:

– А вас как зовут?

Она стояла к окну спиной, окруженная мерцающим золотым ореолом, сотканным из проникавших через открытый проем лучей закатного солнца. Тоненькая и беззащитная. Отдельные выбившиеся из косы волоски отчетливо выделялись на ярком сияющем фоне окна причудливым воздушным кружевом. Маленькие ушные раковины насквозь просвечивали нежным розовым светом. Он чуть заметно улыбнулся и уже собирался ответить на вопрос, как вдруг заметил, что в оконном проеме, слева от головы девушки, что-то мелькнуло. Точно серая птица впорхнул с улицы в комнату.

В следующую секунду его приученный за месяцы боев мозг машинально распознал во влетевшем в помещение предмете немецкую гранату с длинной деревянной рукояткой. Снаряд упал позади девушки, со стуком ударился об угол опрокинутого стола и завалился за него.

Он не успел ничего сделать, лишь в отчаянии выбросил вперед кисть с растопыренными пальцами и, собираясь закричать, разъял пересохший рот. В то же мгновение тишина натужно лопнула и грохнул взрыв. В его памяти на всю жизнь отпечатался этот момент: ослепительная вспышка и лицо совсем молодой девушки, немного удивленное и недоумевающее...

...Его сильно оглушило взрывной волной, однако осколками не задело. В тот день смерть не могла до него добраться. Массивная крышка опрокинутого письменного стола спасла его, защитив от огненного металла. Он пришел в себя через какое-то время и еще минуты две бессмысленно водил по стенам и потолку пьяным взглядом. Стены вокруг него двигались, пол раскачивался и плескался волною. Он не мог толком ничего сообразить. Голова раскалывалась – тупая боль орудовала внутри железным молотом. Когда дым рассеялся, а пыль улеглась, гудящая тишина повисла в упругом воздухе застывшим колокольным стоном. Или, может быть, это гудело у него в ушах? Он не понимал. Потом он увидел распластанную девушку на окровавленных досках грязного пола и окружающий мир с его ежесекундной опасностью перестал существовать.

Таня лежала рядом с пишущей машинкой и вздрагивала в судорожных конвульсиях. С одной ноги у нее слетел полуботинок, платье задралось. Он забыл про раненную ногу и, преодолевая тошноту, противно распиравшую грудь, подполз к девушке. Всюду валялись деревянные щепки, сколотые со стола осколками разорвавшейся гранаты, и крошево штукатурки. Несколько кусочков дерева, лежали на Тане. Он аккуратно собрал их, отбросил в сторону и поправил подол платья, сбившегося на оцарапанных ногах.

Таня умирала около часа. Из-за того, что она стояла рядом со столом в полный рост, осколки безжалостно посекали ее выше пояса. Один попал по касательной в шею, оставив хоть и глубокую, но безопасную царапину, еще несколько крупных, раскаленных кусков металла разорвали платье между лопаток и глубоко засели в худеньком девичьем теле.

Он осмотрел девушку. Торопясь и путаясь в рукавах, не замечая собственной одуряющей боли, стащил гимнастерку, свернул ее и подложил под истерзанную Танину спину, надеясь таким образом задержать выход крови. Затем взял ее голову в ладони и склонился у нее над лицом. Таня почти все время находилась в сознании. Ее дыхание сделалось прерывистым и частым. Губы сморщились, обметались белесым налетом, под глазами залегли восковые тени. Ее взгляд блуждал по нему, полный неуверенности, тревоги и невыносимых физических страданий. Девушка не отпускала его лица и прикрывала веки лишь тогда, когда мучавшая ее боль вконец изнуряла, высасывала последние силы. В один из моментов она беспокойно пошарила рядом с собой, пытаясь нащупать его руку, не нашла и в исступлении принялась комкать ткань платья. Тогда он высвободил левую руку, взял Таню за кисть и, продолжая правой поддерживать голову девушки, осторожно положил ее себе на колено. Таня тут же схватила его ладонь, будто надеясь найти в ней успокоение, и лихорадочно сжала в холодеющих пальцах.

– Сильно меня, да? – выдохнула она, с трудом пошевелив губами.

– Нет не сильно, – солгал он. – Не разговаривай, молчи. Не траться понапрасну.

Она в упор посмотрела на него:

– Зачем ты обманываешь? Я же знаю, что сильно... Наверное, потому что сильно, поэтому и знаю. У меня ноги очень мерзнут, а до этого не мерзли...

– Просто солнце садится... Вечер уже.

– Опять обманываешь... – без упрёка произнесла Таня. Из ее груди вырвался хриплый стон, она сухо кашлянула и на губах появилась кровь.

– Молчи, молчи.

– Я умру? – спросила девушка и вслед за вопросом ответила утвердительно сама себе. – Умру...

Он распознал в этом коротком, страшном слове столько невысказанного сожаления и горечи, что на этот раз не смог ей солгать. Отвел глаза и с ожесточением и ненавистью посмотрел на видимый через окно открытый кусок далекого тускнеющего неба.

– Я боюсь... – еле слышно прошептала Таня, – ты не уходи от меня... – она еще крепче сжала его кисть. – Ладно...? Раньше, когда мне становилось страшно, я всегда мысленно разговаривала с мамой... а сейчас... сейчас хорошо, что ты рядом...

По телу девушки пробежала судорога, и ее лицо пересекла боль.

– Так больно, что очень хочется плакать... – призналась она ему. Ее глаза наполнились слезами и несколько крупных капель быстро сбежали по щекам.

– Ты плачь, плачь... – с надсадой сказал он, преодолевая в горле комок.

Девушка неотрывно смотрела ему в лицо. Слезы продолжали катиться по ее бледной, точно выбеленное полотно, коже.

– И мне мама иногда снится... – внезапно признался он, секундно помолчал и добавил, – я с ней тоже разговариваю, как и ты со своей мамой...

Девушка ничего не ответила, она стала совсем слаба, только в глубине ее взгляда, сквозь толщу страха и телесных мук, он различил искру радости, затеплившуюся в ее глазах после произнесенных им слов. Ему показалось, что девушка едва заметно улыбнулась, и ощутил, как она погладила пальцами его руку. По ее телу прошла мелкая дрожь. Таня задышала часто-часто, судорожно хватая воздух обметанными губами, и опять с хрипом выплонула сгусток черной крови. Он бережно вытер ее лицо ладонью и убрал со лба упавшие волосы. Он смотрел на быстро угасающую юную жизнь, и ему впервые за всю войну не верилось в то, что человек умирает. Нет, не может быть, чтобы эта девочка умерла! Его сознание безоговорочно отвергало подобную возможность. Оно не желало принимать ее и мириться с нею. Погиб Ибрат, в любой день мог умереть он сам, могли быть убитыми другие знакомые солдаты из его роты, что бывало часто, но не эта беззащитная девочка. Если такое случается в мире, значит в нем что-то неправильно, что-то не так. Такой мир не приспособлен для жизни. Если девочка на его руках умирает, значит мир не имеет права на существование! Такой мир обречен! Нежизнеспособен!

Он отсутствующе уставился в стену напротив. Не понимая, что с ним происходит, он смотрел на разбитую штукатурку и тихонько гладил умирающую

Таню по голове. Она слегка пошевелилась, и он поспешно, с беспокойством, посмотрел на нее. Девушка уже почти ничего не различала. Ее глаза блуждали по его лицу и не находили его взгляда. В этот миг что-то неконтролируемое произошло с ним, внутри ослепительно взорвалось, озарив сознание белым светом, и не в силах сдержаться он разрыдался. Из груди вырывались не то протяжные стоны, не то крики. Временами, уткнувшись себе в плечо и до крови, с ожесточением прокусывая кожу, он начинал в неистовстве выть. Его глухой, задавленный плач продолжался несколько минут. Он очнулся лишь тогда, когда Таня на удивление крепко сжала его руку. Взгляд ее сделался очень чистым и осмысленным, она с минуту спокойно рассматривала его лицо, будто пыталась навсегда запомнить каждую черточку, затем собралась с силами и, разлепив сухой рот, произнесла:

– Ты так и не сказал мне, как тебя зовут...

Он не смог ей ответить. Несколько раз он пытался назвать девушке свое имя, но удушливый спазм, схвативший горло стальной цепью не давал ему исторгнуть из груди ни единого звука. Он продолжал гладить Таню по волосам, точно безумный беззвучно шевелил воспаленными губами и медленно-медленно раскачивался из стороны в сторону...

...Старик потянул через мундштук, однако вкуса табачного дыма не почувствовал. Сигарета опять погасла. Он опустил руку на колени и, все еще не до конца освободившись от недавних воспоминаний, печально поглядел в небо.

Громко ударила подъездная дверь и на крыльце появилась пожилая соседка со второго этажа. Она поправила сбившуюся косынку на голове, окинула любопытными глазами пустынный двор и покосилась в его сторону. Старик неспешно вынул из кармана коробок со спичками, чиркнул серной головкой и, склонившись к пригоршне, прикурил. Глубоко затянувшись, он удушливо закашлялся. Наконец, овладев дыханием, старик сплюнул в сторону мокроту и поглядел на женщину водянистыми глазами. Та уже успела спуститься по ступенькам и, приблизившись к нему, назидательным тоном сказала:

– Бросал бы курить, Степаныч.

Он промолчал, сделал вид, что не расслышал соседкиных слов.

– Помрешь ведь от табаку, – не успокоилась женщина на первой фразе.

Старик нехотя повернул к ней лицо и хмуро сказал:

– Я уже умирал, мне не страшно.

– Ну ладно, дело твое, – отозвалась женщина. В интонациях ее голоса сквозило заметное недовольство тем, что упрямый старик пренебрег ее толковым советом. Она задрала к небу широкое лицо, отрывисто зыркнула на жидкие, белесые облака и, прижимая к боку матерчатую сумку, переваливаясь, направилась к проходу между домами.

Старик с равнодушием проследил за ее утиной походкой. Он в последний раз затянулся, вынул из мундштука тлеющий окурок и бросил его в траву на газоне. Фантомные боли продолжали изводить его ампутированную ногу. Болело то, чего уже давно не существовало. Болела его прожитая жизнь. За многие годы в его душе скопилось столько боли, что нигде в мире не отыскалось бы ле-

карства, способного заглушить в нем все его страдания. Он уже давно находился с ними один на один. Еще начиная с августа сорок третьего.

Старик взял костыли. Напрягаясь всем телом, поднялся с бетонного блока и направился к крыльцу. Он пробыл на улице больше часа и теперь собирался вернуться в квартиру. Нужно было подготовиться к визиту работницы из собеса, которая должна была вот-вот прийти.

Старик вступил в плохо освещенный подъезд и поставил ногу на первую ступень марша. Дочь он никогда не ждал.

Список литературы

Предания Южного Зауралья

1. Ахметшин Б.Г. Горнозаводской фольклор Башкортостана и Урала. Уфа, 2001.
2. Ахметшин Б.Г. Несказочная проза Горнозаводского Башкортостана и Южного Урала. Уфа, 1996.
3. Бирюков В.П. Дореволюционный фольклор на Урале. Свердловск, 1936.
4. Бирюков В.П. Урал в его живом слове. Свердловск, 1953.
5. Бирюков В.П. Урал Советский. Курган, 1958.
6. История Курганской области (с древнейших времен до 1861 года). Курган, 1995. – Т. I.
7. Кондрашенков А.А. Крестьяне Зауралья в XVII-XVIII веках. Челябинск, 1966.
8. Криничная Н.А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987.
9. Лазарев А.И. Предания рабочих Урала как художественное явление. Челябинск, 1970.
10. Фольклор и литература Зауралья: Из истории русской фольклористики: хрестоматия. Курган, 2005.
11. Фольклор на родине Д.Н. Мамина-Сибиряка. Свердловск, 1967.

Д.Н. Мамин-Сибиряк

12. Мамин-Сибиряк Д.Н. Охонины брови (любое издание).
13. Мамин-Сибиряк Д.Н. Избранное. М., 1960.
14. Мамин-Сибиряк Д.Н. Избранные произведения. Л., 1947.
15. Боголюбов Е.А. Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка. М., 1953.
16. Груздев А.Д. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Критико-биографический очерк. М., 1958.
17. Дергачев И. России – об Урале // Урал. – 1991. – №7 .
18. Сержантов В.Г. Писатель-демократ Д.Н. Мамин-Сибиряк. Челябинск, 1952.
19. Удинцев Б. Из записных книжек Д.Н. Мамина-Сибиряка // Южный Урал. – 1952. – №8-9 .
20. Янко М.Д. Д.Н. Мамин-Сибиряк // Литературное Зауралье. Курган, 1960.

К.Д. Носилов

21. Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Свердловск, 1956. Т.1
22. Носилов К.Д. Северные рассказы. Свердловск, 1938.
23. Омельчук А.К. Арктическая разведка: Очерки. М, 1983.
24. Омельчук А.К. К. Носилов. Свердловск, 1989.

25. Осинцев Л.П. Носиловские дачи. Курган, 1993.
26. Осинцев Л.П. Писатель и географ К.Д. Носилов. Челябинск, 1974.
27. Янко М.Д. К.Д. Носилов // Литературное Зауралье. Курган, 1960.
28. Янко М.Д. Очерки и рассказы К.Д. Носилова // Ученые записки Курганского пединститута. – 1958. – Вып.1.
29. Янко М.Д. К.Д. Носилов // Советские писатели Зауралья. Курган, 1973

П.П. Бажов

30. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка (любое издание).
31. Бажова-Гайдар А. П. Глазами дочери. М., 1978.
32. Бажова-Гайдар, А. П. Дом на углу: Воспоминания о моем отце. Свердловск, 1970.
33. Батин М. А. Творчество П. П. Бажова. Свердловск, 1953.
34. Блажес В. В. О фольклоризме бажовских сказов: Полемические заметки // Литература и фольклор. Свердловск, 1976.
35. Дергачев И. А. Дальнее и близкое: (О книге П. Бажова «Дальнее-близкое») // Дергачев И. А. Книги и судьбы: Страницы лит. жизни Урала. Свердловск, 1973.
36. Езовских Н. Добро и зло в сказках П. П. Бажова // Литература. – 1999. – N 22 (июнь).
37. Кузнецова Н. В. Самая первая книга Бажова // Полевской край: историко-краеведческий сборник. Вып. 1. Екатеринбург, 1998
38. Мастер, мудрец, сказочник: Воспоминания о П. Бажове. М., 1978.
39. Минералова И. Г. Бажов Павел Петрович (1879-1950) // Русские детские писатели XX века: библиографический словарь. М., 1997.
40. Пермьяк Е.А. Долговекий мастер: Очерк. М., 1978.
41. Перцов В. О. О Павле Бажове и фольклоре // Перцов В.О. Писатель и новая действительность.- 2-е изд., доп. М., 1961
42. Скорино Л. И. П. П. Бажов (О творчестве П. П. Бажова). М., 1947.
43. Татьяничева Л. Слово о мастере несравненном // Татьяничева Л. Собр. соч. — В 3т. М., 1986. — Т.3.

Е.А. Федоров

44. Избранное. Т.1,2. Л., 1958;
45. Каменный пояс: трилогия. Л., 1955;
46. Золотые руки. Рассказы о русских умельцах. Л., 1962;
47. Абрамович А. Исторические романы Евгения Федорова // Сибирские огни. – 1958. – №5.
48. Андреев Ю. Русский советский исторический роман в 20-30-е годы. М.; Л., 1962.
49. Вальбе Б. Создатель русского булата // Звезда. – 1955. – №3.
50. Голубых М. Историческая недостоверность исторического романа // Урал. – 1960. – №3.
51. Дашевский В. Уральская тема в творчестве Е.Фёдорова. Курган, 1964.
52. Кузнецов Г. В огне Гражданской // Нева. – 1960. – №2.

53. Летров С. История русского советского романа. М., 1961.
 54. Лурье С. В мире чудес // Новый мир. – 1956. – №8.
 55. Мои помощники в исторических разысканиях (из воспоминаний писателя о создании исторических романов) // Сибирские огни. – 1962. – №7.
 56. Раковасий Л. Певец Урала // Нева. – 1963. – №1.
 57. Янко М.Е. А.Федоров // Литературное Зауралье. Курган, 1960.

Я. Т. Вохменцев

58. Вохменцев Я. Слышу зов земли. Лирика и сатира. Челябинск, 1966.
 59. Вохменцев Я. Живет на свете человек. М, 1971.
 60. Вохменцев Я. Третья зрелость. Стихи разных лет. Челябинск, 1973.
 61. Бутаков Р. Вохменцев из Вохменки // Новый мир. – 1998. – 15 января.
 62. Коробейникова Л. Якову Вохменцову 90 лет // Рассвет – 2003. – 24 января.
 63. Михайлова М. Далекый Вохменки поэт // Зауралье. – 2003. – 16 января.
 64. Они сражались за родину // Новый мир – 2009. – 25 апреля.
 65. Потанин В. Он жил среди нас // Новый мир. – 2005. – 25 мая.
 66. Яган И. Берегите друг друга – завещал поэт // Новый мир. – 2003. – 16 января.

С.А. Васильев

67. Васильев С.А. Избранные произведения. В 2-х Т. М, 1970.
 68. Васильев С.А. Отбор. Избранные стихи и поэмы 1932-1970 годы. М, 1971.
 69. Васильев С.А. Под небом России. Стихи и поэмы. М., 1972.
 70. Бражнов В. три памятные встречи // Новый мир. – 2001. – 26 мая.
 71. Вспоминая Сергея Васильева // Зауралье. – 2001. – 19 декабря.
 72. Денисова И. И все — за Советскую власть! // Октябрь. – 1967. – № 4.
 73. Межевикин В. Васильевский остров // новый мир. – 2006. – 15 июля.
 74. Михалков С. Статья о товарище // Знамя. – 1965. – № 11 .
 75. Ошанин Л. Прямота поэтического сердца // Правда. – 1967. – 14 февраля.
 76. Саянов В. Путь поэта // Знамя. – 1958. – № 6.
 77. Тиванов В. Русский поэт // Новый мир. – 2001. – 21 декабря.

А.М. Пляхин

78. Пляхин А. На войне и дома. Стихи и дома. Стихи и поэмы. М. 1986.
 79. Пляхин А. Верность: Стихи и поэмы. Челябинск, 1987.
 80. Финикова И. Стихи мои рождаются в сердце // Новый мир. – 1998. – 9 декабря.
 81. Межевикин В. Очарованный странник // Новый мир. – 2003. – 18 сентября.
 82. Морозов Е.Д. Михалыч или Певец во стране русских воинов // Новый мир. – 2007. – 10 мая.
 83. Межевикин В. Воин, журналист, поэт // Новый мир. 2003. – 31 мая.
 84. Меньшиков В. Слово о друге // Новый мир. – 1998. – 3 октября.
 85. Поэт. Журналист. Фронтовик. // Новый мир. – 1998. – 9 октября.

А.Н. Еранцев

86. Еранцев А. Вступление. Челябинск, 1963.
87. Еранцев А. Звезда в траве. Челябинск, 1990.
88. Еранцев А. Избранное. Курган, 2007.
89. Бендик Л. Вступая в незнакомый город // Молодой ленинец. – 1963 – 8 декабря.
90. Веселов В. Живое биение сердца // Новый мир. – 2011. – № 20.
91. Веселов В. Испей добра и душу сотвори // Курган и курганцы. – 1996. – 27 февраля.
92. Дмитриева В. Звезда Еранцева над Тверью и Курганом // Новый мир. – 2007. – 27 марта.
93. Достояно русской поэзии // Новый мир. – 2007. – 16 июня.
94. Надевшийся на третье солнышко // Тобол. – 2010. – № 20.
95. Никишов Ю. М. Алексей Еранцев – символист нового времени // Тобол. – 2010. – 20 февраля.
96. Никишов Ю.М. Звезда Алексея Еранцева. Тверь, 2007.
97. Никишов Ю. Откровений жаждущий // Урал. – 1974. – № 12.
98. Шатковская В. «Гори, моя звезда». К 70-летию со дня рождения Алексея Еранцева // Тобол. – 2006. – Вып.1.

В.И. Еловских

99. Еловских В.И. Солдат и мальчик // В.И. Еловских Гудки зовущие. Москва, 1989.
100. Безрукова Л. Высокий и строгий накал // Молодой ленинец. – 1967. – 31 марта.
101. Коробейников И. Сила Добра // Советское Зауралье. – 1967 – 29 апреля.
102. Логачев Ю. Доброе сердце // Челябинский рабочий – 1966 – 28 декабря.
103. Потанин В.Ф. Щедрость мастера // Советское Зауралье – 1994 – 25 января.
104. Федорова В.П. Под молотом: О повести В. Еловских «Спецпереселенцы» // Наш современник – 1989. – №8.

В.И. Юровских

105. Юровский В.И. Синие пташки – пикушки. М., 1981.
106. Юровский В.И. Утротворец: Рассказы. Шадринск, 2002.
107. Крупин В. Благословение земли // Наш современник. – 1979. – №12.
108. Кузин Н. Зауральское поле добра // Сверстники. М., 1980.
109. Кузин Н. На языке любви и света // Урал. – 1981. – №3.
110. Потанин В. Грани таланта: Штрихи к портрету писателя // Поэтика художественного произведения: Сб. Курган, 2002.
111. Федорова В. Родом из детства: Василий Юровских // Новый мир. – 2004. – 8 июля.
112. Федорова В. Свой среди своих: [О книге «Утротворец»] // Зауралье. – 2003. – 22 февр.
113. Филиппович А. Тихая речка // Урал. – 1975. – №1.

Л.А. Туманова

114. Туманова Л. Блюз для увядших листьев: Стихотворения // Новый мир. – 2008. – 9 сентября.
115. Туманова Л. Вот мой портрет. Стихи. Куртамыш, 2005.
116. Туманова Л. Иду к тебе: стихи прошлых лет // Сибирский край. – 2002. – №2.
117. Туманова Л. О своей фамилии, о маме и немного о себе // Туманова Л. Вот мой портрет. Стихи. Куртамыш, 2005.
118. Туманова Л. Рождение дня; Музыка двора; Мамино лицо; Тост; Мой театр; Монолог под аккомпанемент гитары // Тобол. – 1999. – Вып. 2.
119. Белоусов А. Подарок сердечности // Тобол. – 2004. – №1.
120. Кошкарлова С. «Иду к тебе, мой зритель, мой театр ...» // Зауралье. – 1997. – 6 марта.
121. Петунина П. Звездопад теплоты // Новый мир. – 1997. – 4 марта.
122. Пичурина Н. Портрет. Л. Тумановой // Новый мир. – 2006. – 18 ноября.
123. Портнягин В. Движение остановить нельзя: юбилейный портрет Людмилы Тумановой // Новый мир. – 2005. – 4 октября.
124. Сотникова М. Голубой звездопад Л. Тумановой // Меридиан. – 2005. – 7 марта.
125. Стрельцова Г. Здравствуй и прощай... // Новый мир. 1995. – 2 октября.

А.Д. Львов

126. Анатолий Львов. Избранное. Курган. 2009.
127. Львов А. Д. Детский парк: стихи. Курган, 2007.
128. «И в летний сад гулять ходил» // Новый мир – 2007. – 21 сентября.
129. Андреева Г. Мир, из которого мы вышли мир // Новый мир – 2006. – 18 февраля.
130. Безрукова Л. От перышка до пера или Неизвестный Львов // Тобол. – 2008. – №1.
131. Бухарина Г. Заявка на будущий поэтический сборник // Субботняя газета. – 1997. – 12 июля.
132. Бухарина Г. Стихи под обложкой // Зауралье. – 2003. – 4 февраля.
133. Морозов Н. Поэзия городов Союза Советских Социалистических Республик // Сибирский край. – 2009. – Вып.16.
134. Пирожкова О. Поэты времени не выбирают // Новый мир. – 2003. – 6 февраля.
135. С серебряным веком в крови // Новый мир. – 2003. – 29 марта.
136. Трахтер С. Дар судьбы – поэзия // Курган и курганцы. – 2004. – 30 сентября.
137. Федорова В. Теплый луч неизбывной любви // Курган и курганцы. – 2003. – 13 марта.

В.Ф. Потанин

138. Потанин В.Ф. Подари мне сизаря: рассказы. Челябинск, 1966.
139. Потанин В.Ф. Наследник солдата. М., 1967.
140. Потанин В.Ф. Ожидание моря: повести и рассказы. - М.,1973.

141. Потанин В.Ф. Тихая вода: повести и рассказы. М., 1976.
142. Потанин В.Ф. Сельские монологи: повесть. М., 1979.
143. Потанин В.Ф. На обрыве: рассказы и повести. М., 1986.
144. Танцуем без перерыва: сборник повестей и рассказов. Курган, 1995.
145. Украденная жизнь: повести и рассказы. Курган, 2000.
146. Богатко И. Размышление над чувствами // Богатко И. Предчувствие: литературно-критические статьи и очерки. М., 1990.
147. Гаврилов В. Виктору Потанину – премия И.А. Бунина // Новый мир. – 1994. – 3 нояб.
148. Ганичев В. Торжество рассказа // Роман-газета. – 1995. – № 19.
149. Кузин Н. Зауральское поле добра: на орбите душевности // Каменный пояс. Челябинск, 1981.
150. Кузин Н. По законам совести и красоты // Кузин Н. Диалог со временем. Свердловск, 1983.
151. Одинцова С.М. Русский национальный характер в рассказах И.А. Бунина «Веселый двор» и В.Ф. Потанина «Буржуй» // Тобол. – 2009. – №1.
152. Олейник В. В поисках живой души // Тобол. – 1993. – Вып.1.
153. Петелин В. По главному руслу жизни // Петелин, В. Россия-любовь моя М., 1986.
154. Селезнев Ю. Мужество добра // Вечное движение. М., 1976.
155. Черкасов В. На реке // Черкасов В. Путешествия: рассказы о писателях России. М., 1987.
156. Шишов В. Люди отчего края // Знамя. – 1968. – № 10.
157. Янко М.Д. Назначение человека – творить добро // Янко М.Д. Советские писатели Зауралья. Курган, 1973.
158. Яновский Н. Красота земли и красота человека // История и современность. Новосибирск, 1974.

И.П. Яган

159. Иван Яган. К 75-летию со дня рождения. Курган. 2009.
160. Яган И.П. За Сибирью солнце всходит...: Повести. Челябинск, 1984.
161. Яган И.П. Куда ни поеду, куда ни пойду... документальная проза. Челябинск, 1989.
162. Яган И.П. Многоликая и самобытная. Куртамыш, 2007.
163. Яган И.П. Чем живу... Курган, 2003.
164. Веселов В. Тепло родства // Молодой ленинец. – 1984. – 19 июля.
165. Захаров А. Перекаты судьбы И. Ягана // Курган и курганцы. – 2009. – 30 октября.
166. Потанин В. След на земле // Тобол. – 2009. – №1.
167. Юровских В. Исповедь писателя // Советское Зауралье. 1989. – 30 августа.
168. Яган И.П. // Кто есть кто в курганской области. Биографический справочник. Курган, 1994.

В.П. Федорова

169. Федорова В.П. Клены // Тобол. – 1995. – №2.

170. Голованов И.А. Поздравляем Валентину Павловну Федорову // Традиционная культура. – 2010. – №3.

171. Львов А. Два столетия зауральских литераторов // Курган и курганцы. – 2001. – 16 января.

172. Шалай В. Путешествие в мир тайн и чудес // Новый мир. – 2005. – 12 ноября.

А.А. Захаров

173. Захаров А. Ловцы звезд. Повести и рассказы. Куртамыш, 2008.

174. Ахтамянова Л. Руна // Тобол. – 2010. – №20.

175. Кузьмин А. Дар бесценный // Курган и курганцы. – 2009. – 31 марта.

176. Москвитин В. Нужна ли нам литература? // Новый мир. – 2010. – 24 апреля.

177. Портнягин В. ловцы литературных звезд // Новый мир. – 2009. – 31 октября.

Учебное издание

Постовалова Ольга Дмитриевна

ЛИТЕРАТУРА УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ

Хрестоматия

Авторская редакция

Пописано в печать Печать трафаретная Заказ	Формат 60×84 1/16 Усл.печ.л. 9,75 Тираж	Бумага тип. №1 Уч-изд. л 9,75 Цена свободная
--	---	--

Редакционно-издательский центр КГУ
640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25
Курганский государственный университет.